

[Polaris]



ЗОЛОТОЙ ТОПОР

Фантастика. Ужасы. Мистика

Том II

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССХVIII



Salamandra P.V.V.

ЗОЛОТОЙ ТОПОР

Фантастика. Ужасы. Мистика
Том II

Составление и подготовка текстов
М. ФОМЕНКО

Salamandra P.V.V.

Золотой топор: Фантастика. Ужасы. Мистика. Том II. Сост., подг. текстов и прим. М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 260 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXVIII).

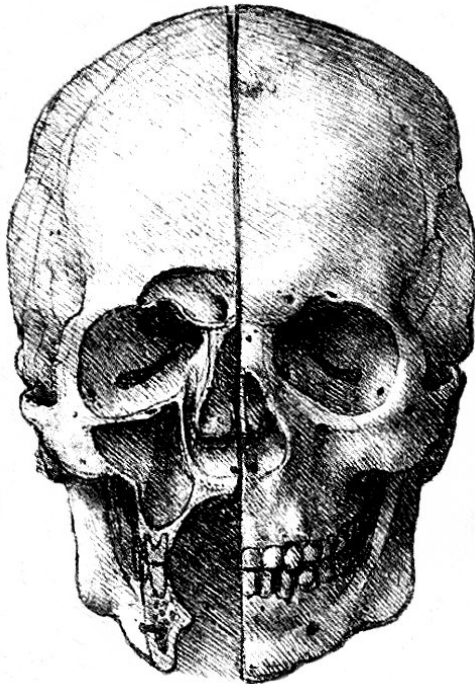
В сборник вошли раритетные фантастические, мистические и «ужасные» рассказы западных авторов первых десятилетий XX века. Эти произведения принадлежат в основном европейским писателям и в подавляющем большинстве своем никогда не переиздавались. Среди авторов читатель найдет как громкие и знаменитые, так и малоизвестные имена.

© Authors, estate, 2019

© М. Fomenko, состав, подг. текста, прим., 2019

© Salamandra P.V.V., оформление, 2019

ЗОЛОТОЙ



ТОПОР

Дэви Вуд

ТАЙНА СМЕЮЩЕЙСЯ ДЕВУШКИ

Когда с Дорис Уиндзор в первый раз это случилось, Эрик Харфорд стоял с ней на веранде их дома в Бартон-Роде. Через неделю они должны были венчаться и вполне понятно, что молодые люди чувствовали себя на седьмом небе.

— О, Эрик! посмотри на бедную птичку! — показала она ему вдруг на ближайший куст.

И вдруг голос ее как будто оборвался и что-то странное произошло с ней.

— Что с тобой? — обеспокоился Эрик, бросаясь к пей.

Но она отстранила его рукой, вытянула вперед руки и с выражением блаженства и экстаза рассмеялась.

— В чем дело? — спросил Эрик.

Но вместо ответа она продолжала лишь смеяться и что-то странное было в этом продолжительном, выражавшем невыразимую радость и счастье, музыкальном смехе.

Обеспокоенный Харфорд обнял ее нежно за талию, увел с веранды и посадил на кресло у окна. Девушка сразу перестала смеяться.

— Ну, что с тобой? — спросил он. — Эта жара действует на нервы.

— Сама не знаю, — ответила она, откинувшись на спинку стула. — Это вышло так глупо. Но я почувствовала вдруг, точно погрузилась в море радости и счастья. Еще до сих пор не могу отделаться от этого чувства.

Харфорд скоро забыл об этом припадке истерического смеха.

На другой день, когда он позвонил по телефону, вместо Дорис, к телефону подошла горничная ее, которая сказала, что мисс Уиндзор не совсем здорова и что мистрис Уиндзор просить его приехать к ним. Нечего и говорить, что он сейчас же помчался туда.

Мистрис Уиндзор вышла к нему с заплаканными глазами.

— В чем дело? — заволновался он. — Ведь когда я вчера ушел, Дорис была совсем здорова.

— Эрик, мой бедный мальчик, — произнесла мистрис Уиндзор. — Рассудок ее не в порядке. Сегодня утром был доктор Витон, но он ничего определенного не мог сказать

нам. В общем она совершенно нормальна, но по временам у нее начинаются пароксизмы смеха. По-видимому, это истерия, но это производит страшное впечатление. Удивительнее всего, что она уверяет, что смеется от избытка счастья.

Эрик рассказал об аналогичном припадке смеха, свидетелем которого он был вчера вечером на веранде. В это время в комнату вошла Дорис: в своем белом платье, с пучком красных гвоздик на груди, она была олицетворением красоты и здоровья. Харфорд поздоровался с ней нежнее обыкновенного. Мистрис Уиндзор поспешила оставить их одних.

— Мама тебе все рассказала? — спросила Дорис. — Это то же, что было со мной вчера на веранде, но уже в другом месте.

— В другом месте? — с изумлением воскликнул Эрик. — При чем здесь место?

— Глупый мальчик мой! Разве ты не заметил, что приступ смеха овладел мной на веранде? Случается это и у окна в моей спальне. Это просто ощущение невыразимого счастья, но все же... — Она взглянула на него полными ужаса глазами. — О, Эрик! не считают ли они меня сумасшедшей?

— Нет! нет! — страстно целуя ее, воскликнул Эрик. — Витон просто старый идиот. Но и он уверен, что это просто истерика. Знаешь, дорогая... Теперь здесь мой старый приятель, известный невропатолог доктор Балдин. Я заеду к нему и попрошу его посмотреть тебя.

— Спасибо, милый, — печально произнесла она, — не думаю, чтобы это могло принести мне пользу. — Она подняла на него полные слез глаза. — Знаешь ли ты, что мой дядя Герберт умер в Рексфорде в доме умалишенных...

Харфорд вздрогнул, но постарался не дать ей этого заметить. Это еще больше утвердило его в намерении посоветоваться с Балдиным, и прямо от Уиндзоров он поехал к последнему.

Доктор Балдин очень заинтересовался этим случаем.

— И вы говорите, что приступы смеха овладевают вашей невестой только на балконе и у окна ее спальни, а в остальное время и в остальных местах она вполне нормальна?

— Вполне.

— Гм. Нечто вроде местной галлюцинации, по-видимому. Надо бы по возможности скорее повидать больную. Например, завтра в три часа. Удобно? Заезжайте за мной и мы отправимся вместе.

— Спасибо, дружище, я знал, что вы не откажете мне, — горячо поблагодарил его Харфорд. — Вы не можете представить себе, что это значит для меня. Ведь через неделю мы должны венчаться...

Когда на другой день они подъехали к дому Уиндзоров, Дорис встретила их на лужайке перед домом. После первых приветствий доктор попросил ее показать ему места, где ей овладевают приступы смеха, Харфорду же он велел остаться в саду. Харфорд следил за ними, как они вошли в дом, потом появились на балконе. И вдруг до уха его донесся веселый, раскатистый смех Дорис, от которого у него мороз по коже пробежал. Харфорд поднял глаза и увидел Дорис на веранде с вытянутыми вперед руками, с выражением неземного счастья на лице. Но его испугала не столько Дорис, сколько стоявший за спиной ее доктор, смертельно бледное лицо которого было подернуто конвульсивной судорогой; в глазах его было выражение панического ужаса.

— Алло! — крикнул Харфорд, бросаясь к дому.

— Ничего, ничего! — раздался с балкона успокаивающий, но не совсем спокойный голос доктора.

Усадив Дорис на место, доктор вышел с Харфордом в сад.

— Могу вас успокоить, Эрик, — произнес он. — Я говорил с мисс Уиндзор и пришел к заключению, что она настолько же в здравом уме, как и мы.

— Но... — начал изумленный Харфорд.

— Да, да... знаю, что вы хотите сказать, — перебил его доктор. — Сейчас еще ничего ровно не могу сказать по поводу этого. Но мы не должны терять времени.

Затем, обернувшись к Дорис, он продолжал:

— Вам необходимо немедленно выехать из этого дома. Никто не должен тут оставаться.

— Оставить дом? — с сожалением воскликнула мисс Уин-

дзор.

— Поверьте, мисс Уиндзор, — это серьезнее, чем вы себе представляете. Это... это вопрос жизни и смерти... Больше я ничего не могу сказать вам сейчас.

Дорис испуганно прижалась к руке Эрика. Угроза помешательства была устранена, но эта неизвестная опасность была не менее странна.

На обратном пути в экипаже Харфорд спросил доктора:

— Ради Бога, разъясните мне эту тайну. Если Дорис вполне здорова физически и умственно, то в чем же опасность? Зачем покидать дом? И какое же объяснение ее приступам смеха на веранде и в спальне у окна?

— Дорогой мой, к сожалению, я сам еще ничего не понимаю. А покинуть дом я велел потому, что не верю в духов.

— В духов? Что хотите вы этим сказать?

— Попробуем призвать па помощь логику. Вы заметили мое выражение на веранде. Выражаясь словами мисс Дорис, я почувствовал себя погруженным в парализовавшее меня море ужаса. Ваш окрик вывел меня из этого состояния. А между тем, ни мисс Уиндзор, ни я не видели ничего такого, что могло бы вызвать у одного из нас смех, а у другого ужас. Следовательно, отсюда я делаю логический вывод: не внешнее чувство воздействовало в данном случае на мозг. Откуда же шло это воздействие? В этом-то и заключается загадка. Если бы я был спиритуалистом, я сказал бы, что какой-нибудь дух проделывает над нами шутки, — доктор пожал своими могучими плечами.

— Но почему же это действует только на Дорис? — удивился Харфорд. — Ведь и я сам и другие стояли на том же месте...

— Это действительно странно, но не дает нам права рисковать. И я все-таки настаиваю на немедленном выезде из дома.

Уиндзоры переехали в город к сестре мистера Уиндзора, а дом их в Бартон-Роде был заперт. Дорис чувствовала себя прекрасно, но на другой день она показала Эрику, что над белым лбом ее, вдоль всей головы, появилась мелкая

сыпь. Эрик решил рассказать об этом доктору. В тот же вечер Эрика вызвал по телефону доктор.

— Неожиданное открытие! — сказал он. — Одна из наших пациенток проявила симптомы заболевания, аналогичного заболеванию мисс Уиндзор, с той только разницей, что у нее внезапные приступы горя и ужаса. Живет она также в Бартон-Роде, в доме № 15. Завтра в одиннадцать утра еду навестить ее. Хотите поехать со мною?

Харфорд обещал быть вовремя и между прочим рассказал о сыпи у Дорис.

— Я так и знал, — ответил доктор.

— Почему?

— Потому что и у меня после инцидента на веранде появилась сыпь. Такие раздражения кожи при действии на мозговые центры — вещь обыкновенная. Это даже дает нам ключ к разгадке. Вы не беспокойтесь.

Когда они на другое утро подъехали к дому № 15 в Бартон-Роде, дверь дома они застали открытой. На их звонок и стук никто не выходил. Тогда они решили войти без доклада. В передней доктор прислушался к чему-то и вдруг бросился бежать по лестнице. Харфорд последовал за ним. Глухие стоны привели их к небольшой спальне, где на полу против окна корчилась в конвульсиях женщина средних лет. Доктор поднял ее, посадил на стул, и она пришла в себя.

— Кто тут? — слабо произнесла она.

Доктор подошел к ней и стал расспрашивать.

— Это приключилось как-то сразу. Я упала и больше ничего не припомню. Я старалась не подходить к месту, где это случается.

— Покажите, где это бывает с вами.

Она показала на окно.

— Прекрасно. Прекрасно. Харфорд, мы нападаем на след. Ну, мистрис Фразер, — обратился он к пациентке. — Вы сейчас уходите отсюда, а завтра можете, пожалуй, вернуться. Только раньше зайдите ко мне в клинику.

Когда мистрис Фразер ушла, доктор обратился к Харфорду:

— Теперь бы видите, что мы нашли ключ к разгадке?

— Ничего не вижу.

— Сфера таинственного влияния на мозговые центры — угол балкона дома Уиндзоров, окно в спальне мисс Уиндзор и вот это окно — находятся на одной прямой линии.

— Что же из этого?

— А то, что мы можем добраться таким образом до источника этого таинственного воздействия.

— Вы думаете, тут действует человеческая сила? — удивился Харфорд.

— Безусловно. Я убежден, что кто-то пока еще неизвестным для нас образом получил возможность действовать па мозговые центры людей, и он или делает теперь свои испытания, или играет на людях, как на музыкальных инструментах, вызывая в них то безумный хохот, то панический страх. У меня даже есть маленькое представление о том, каким образом это делается... Но что с вами, Харфорд?

Харфорд стоял у окна с паническим ужасом на лице, вытянув вперед руку.

Доктор быстро оттащил его оттуда. Харфорд вздрогнул.

— Мне почудилось, что я вижу Дорис помешанной, — произнес он, — что какая-то чудовищная сила входит в меня вон оттуда.

— Может быть, вы даете нам направление для наших поисков. Отправимся сейчас же.

Против дома Уиндзоров и дома мистрис Фразер стоял уединенный домик. Доктор направился прямо к нему и позвонил. На звонок вышла старая служанка.

— Передайте, пожалуйста, вот эту карточку вашему хозяину, — сказал доктор.

— Да он, кажется, не принимает.

— Мне действительно нужно видеть его.

С этими словами он прошел мимо служанки и толкнул дверь.

— Профессор Отто фон Гуттберг! — воскликнул доктор.

— Так это вы! О, теперь я все понимаю! Как это я сразу не догадался?

С криком досады и негодования профессор бросился вверх

по лестнице.

— Живее! за ним! — крикнул доктор Харфорду.

Комната, в которую они бросились за Гуттбергом, имела странный вид: она вся была уставлена склянками и батареями, стеклянными шарами. Профессор бросился к электрической кнопке и вмиг один из стеклянных шаров заискрился зеленовато-желтым блеском. Доктор вскинул руки, зашатался и упал, как подкошенный.

Харфорд избег действия этих лучей, с одной стороны, благодаря более низкому росту своему, а с другой стороны потому, что сразу бросился в сторону.

Гуттберг схватил со стола револьвер. Раздался выстрел, пуля пролетела над головой Харфорда, который бросился на Гуттберга и со всей силой толкнул его на пол. Гуттберг упал на одну из батарей и остался лежать без движения. Тогда Харфорд обратился к доктору, который начинал приходить в себя.

— Дьявольская махинация, — слабо произнес он. — Еще две секунды действия этих лучей, и я мог бы отправиться к праотцам.

Он подошел к Гуттбергу и установил внезапную смерть от действия батарей.

— Он получил по заслугам, — произнес доктор. — Но какая жалость, что такой ум был направлен на дело разрушения.

— Вы знакомы с секретом его аппарата? — удивился Харфорд.

— Немножко. До войны фон Гуттберг был профессором, и довольно выдающимся, в Стэмфордском университете. Незадолго до войны он прочел доклад об X-лучах и об изобретенном им специальном аппарате. Вы знаете, что X-лучи, пропущенные через обыкновенную трубу, могут оказывать разрушительное действие на кожу. Фон Гуттберг концентрировал X-лучи в одном фокусе и таким образом придавал им такую силу, что они могли действовать не только на кожу, но и на внутренние органы. Война остановила его опыты, которые он, по-видимому, все-таки продолжал в этом уединенном домике. Нетрудно догадаться, для каких

адских махинаций предназначал он свое изобретение. Целые армии, целые города могли быть доведены до безумия или поражены насмерть этими лучами... — доктор содрогнулся от ужаса при этой мысли...

Джон Флеминг Вильсон

ИСКРЫ

Фантастический рассказ

Последний посетитель, получив справку, покинул кабинку беспроводного телеграфа. Дежурный молча перевел сигнальные огни, а Боб Литль снял с головы приемник и закурил папиросу.

— «Нам-Сити», застигнутый туманом, стал на якорь близ Капа-Бланко, — конфиденциально сообщил он мне, — и старый телеграфный черт занят вопросом, светит ли где-нибудь на океане луна.

Я выпустил клуб дыма и кивнул головой. Эти телеграфные новости давно перестали быть новыми для меня. Литль бросил взгляд на часы и позвонил в динамо-машину.

— Сегодня плохая статика, — сказал он как бы про себя.

— Какая статика? — быстро спросил я.

Литль красноречиво протянул мне приемник.

— Надень это, — сказал он, — тогда будешь знать столько же, сколько я.

Я надел на темя упругую металлическую ленту и тотчас же мерные звуки движущегося судна прекратились. Вместо ударов винта и скрипа рулевой цепи я услышал мягкое «з... з... з... з» беспроводного телеграфа, жужжание, безошибочно несущее весть через моря и континенты. Я поймал обрывок этой воздушной беседы:

«...Котлы пересмотрены... шесть труб забраковано... Снимайтесь с якоря завтра в полдень и идите полным ходом...»

Литль повернул рукоятку регулятора вниз и электрическая пчела прожужжала мне новую весть:

«...Пароход “Хорнет” в ста пятидесяти милях от Огрена — все благополучно».

Снова рукоятка скользнула вокруг своей короткой арки, и из воздушного флюида принеслось резкое, отрывистое «з... з... з... з» буксирного парохода, справлявшегося о том, что делать с грузом бревен. Затем страшный удар грома заставил задрезжать все вокруг. Точная, деловая передача двенадцати станций была прервана треском могучей артиллерии. Я закрыл глаза от излома молнии, сверкнувшей в небесах, и Литль подхватил упавший у меня приемник.

— Ну, вот тебе статика, — спокойно сказал он.

— Объясни же, в чем дело? — попросил я еще раз, видя,

что Литль в хорошем настроении.

— Существует свыше тридцати систем беспроводного телеграфирования, — не без гордости заметил Литль, — и все они вместе взятые не дают понятия о том, что такое статика. Иногда...

Он замолчал и вынул другую папиросу.

— Что иногда? — воскликнул я.

Вместо ответа Литль одел приемник на голову, прислушался, потом отложил его в сторону и натянуто улыбнулся.

— Странно, — пробормотал он, — я десять лет работаю здесь и десять лет работал раньше на железной дороге, но объяснить себе этого не в состоянии.

— Статику? — спросил я.

— Кто это был, — сказал он, не слушая меня, — наверное, та женщина...

И, не дожидаясь моих просьб, он стал рассказывать:

— Видишь ли, имеются различные способы приемки депеш. Вот здесь одна система, здесь другая. Эта — первая, которой я научился. Гляди!

Он сделал непонятные для меня перемещения проволоки, погрузил их в какую-то жидкость и удовлетворенно произнес:

— Теперь послушай!

Снова я надел приемник. Жужжание перешло в отчетливую, хотя и слабую ноту. Каталось мне, что она идет из бесконечности, ясная, жалобная, совсем не похожая на торопливый и беспокойный шум, который я слышал до этого. Литль ответил на мой молчаливый вопрос.

— Таким путем можно слышать отовсюду, где только существует эфир, — сказал Боб. — И в этом преимущество такой системы. Но она слишком деликатна для коммерческой работы. Можно услышать и лишнее. Я думаю, так и случилось с Гарри Линном. Он уловил токи неизвестных нам волн. Сомневаться в этом нечего. Мы все: Верди Гроу, Роз Сити и Стиви Паттерсон — слышали их.

Гарри работал бок о бок со мной в почтовой конторе Сан-Франциско. Мы были тогда неразлучными друзьями. Как раз тогда появился беспроводный телеграф, и я уст-

роился на одной из первых оборудованных станций, бросив свою работу в Фриско и уехав в Нью-Йорк. Месяцев шесть спустя, среди Атлантического океана, я услышал Гарри Линна, — невозможно было не узнать отчетливой, отрывистой посылки, напоминавшей его манеру говорить. Таким образом я узнал, что и Гарри тоже работает на беспроволочном телеграфе.

Разумеется, мы поддерживали сношения друг с другом и при первой возможности, вернувшись на берег, устроились вместе и в Фриско.

Гарри повстречался здесь с одной молодой особой, которую он знал раньше. Высокая, красивая девушка с серыми глазами! Она работала в нижней части города, в торговой конторе. Звали ее Люсиль, и держалась она с нами очень высоко, не удостаивая даже разговором. Гарри Линн был в нее влюблен. Любила ли она его, об этом узнаешь после.

Очень часто Люсиль заходила за Гарри, чтобы вместе с ним идти домой, и я привык, сняв приемник и оглядевшись вокруг, видеть на скамье в углу комнаты ее склоненную фигуру. Но неожиданно девушка перестала приходить. Прошла неделя — Люсиль не появлялась. Я спросил у Гарри, что с ней.

Гарри тряхнул головой и ответил:
— Завтра я уезжаю на Восток!

И вышел. Очевидно, они с Люсиль поссорились. После этого о нем долго не было вестей, пока Гандерсон не сообщил мне ночью: «Гарри на “Малгале”. Я говорил с ним сегодня».

Ничего не слышно было и о Люсиль. Но однажды ночью я, оглянувшись, заметил в углу знакомую фигуру. От неожиданности все происшедшее вылетело у меня из головы, и я произнес, как ни в чем не бывало: «Добрый вечер! Ждете Гарри?»

Она кивнула головой и слабой, неверной походкой направилась к столу. Лицо ее было мертвенно бледно, и на нем ярко выделялся алый рот, углы которого чуть заметно дрожали.

— Где Гарри? — тихо спросила она.

— Он на «Малгале», я на днях говорил с ним! — ответил Гандерсон.

— А какой его знак? — спросила Люсиль таким же слабым голосом. Гандерсон порылся в указателе и произнес:

— Q2! Сегодня все обстоит хорошо и вы можете поговорить с ним.

Люсиль молча заняла мое место.



Мы с Гандерсоном ушли в глубь комнаты. Как сейчас вижу напряженную женскую фигуру, сидящую у стола, и ее изящный, слегка наклоненный профиль, освещаемый дождем электрических искр.

Внезапно она остановилась и так поспешно надела приемник, что шляпа ее покати́лась на пол. В неверном свете мы с Гандерсоном видели ее глаза, сверкавшие из полуприкрытых век. Но, должно быть, ответа не получалось, потому что она с новой силой стала вызывать: «Q2, Q2, Q2», на этот раз с признаками замешательства. Она еще раз прислушалась, но, видимо, опять безуспешно, потому что сказала решительным тоном: «Гарри нарочно не отвечает, но я все-таки дам ему понять...» Она выпрямилась и снова стала вызывать: «Q2...»

Вдруг нас окутала тьма, звуки прекратились, послышалось легкое всхлипывание, шелест шелка и, когда глаза наши освоились с темнотой, Люсиль уже не было.

Скоро пронесся слух, что она умерла.

Год спустя, идя по Маркет-стрит, я встретил Гарри, вернее, подобие его. Он показался мне нервнобольным, по что особенно поразило меня, так это невероятная толщина при болезненной бледности. Прощаясь, Гарри сказал мне:

— Я подлец и заслужил свои мучения. Оттолкнул девушку, когда она протягивала руки! О! А теперь она уже никогда не позовет меня! Никогда! — и он ушел.

Дороги наши разошлись, но изредка до меня доходили слухи о нем. В последнее время передавали, что он сильно заработался, занимаясь непрерывно днем и ночью на маленькой станции.

Как раз началась скверная история со статикой. Обычно работа идет полосами, повышаясь днем и понижаясь к ночи. Бывают и затишья. Тогда поневоле работа стоит, несмотря на всю промышленную горячку. Но тогда и происходило что-то совсем особенное. Вместо обычного треска, вспышек, ударов мы стали слышать монотонный звук, который мучительно хотелось разобрать, но ни у кого из нас не было машины, способной уловить эти волны.

От Орегона до Гонолулу мы прислушивались, пытались понять, что значили эти звуки, откуда и кто говорит... Мы тщетно пытались понять загадочную телеграмму, посылаемую с упорной настойчивостью и нечеловеческой силой. Стали приходиться запросы с центральных станций о «нераз-

борчивой телеграмме», но таинственной статике так и не могли объяснить.



В это время меня командировали на север, и на борту «Малгалы» я снова встретил Гарри. Он был еще бледнее и толще. На мой совет лечиться, он ответил:

— Пустое! Меня изводит эта проклятая статика! Я слушал все время и сначала думал, что галлюцинирую, но оказывается что и все слышат. На несколько дней я бросил это занятие, но теперь... — Он уставился на меня большими, лихорадочно сверкавшими глазами.

— Что теперь?— спросил я, чувствуя, что сердце мое сжимается при виде этих глаз.

— Я нашел способ понять депешу! — сказал он, показывая на аппарат, невиданный мной. — Я работал над этим днем и ночью, и фабрика Лос-Анжелоса только что прислала мне машину в законченном виде.

— Ты думаешь, что эти звуки — попытка кого-нибудь говорить с нами? — спросил я.

Линн улыбнулся странной, быстро погасшей улыбкой.

— Я, не отрываясь, прислушивался к ним дни и ночи, и я убежден в этом! — сказал он с видом фанатика.

Затем он стал делать что-то со своим новым изобретением, и под гул машины я задремал. Проснулся я от резкого толчка. Передо мной стоял Гарри, дрожащий от возбуждения.

— Боб! Машина работает. Меня зовут, но я не могу понять, что дальше! Попробуй ты послушать!

Я уже не сомневался, что имею дело с сумасшедшим, но умоляющие глаза Гарри заставили меня сесть. Сначала я ничего не слышал, кроме обычных отрывков депеш, затем послышался звук, мучивший меня столько времени. Вскоре я услышал ясное: «Q2 — Q2 — Q2».

На моем лице, должно быть, отразилось замешательство, так как Линн схватился за виски и прошептал:

— Ты слышал зов? Да? — Он закусил губу, передергиваясь, как помешанный. — Меня зовут, Боб, и я не могу разобрать депеши.

Я знаком заставил его сесть. При мелькающем свете искр видно было близко передо мной помертвевшее лицо Гарри, затем я услышал медленную, отчетливую посылку, которую я привык связывать с именем Люсиль:

— *Я звала тебя, Гарри, так долго, так бесконечно долго для того, чтобы сказать тебе, что ты меня не так понял, чтобы умолять тебя вернуться ко мне... Это убило меня... Я жду тебя, Гарри.*

Я одел приемник на голову Гарри.

— Слышно очень хорошо, но говорят не мне, а тебе, — произнес я, садясь на кончик стола.

Казалось, что полнота спадала с его лица в то время, как он слушал эту «телеграмму». Минут пять он оставался непод-

вижным, потом судорожно взялся за ключ и в ушах моих прозвучало:

— О. К. Я иду.

После чего Гарри снял приемник и повалился на постель. Я попробовал еще раз прислушаться, но ничего, кроме торговых депеш, не услышал, да еще Верди Гроу спросил:

— Q2, Q2, отчего ты не отвечаешь?

Гарри лежал, не шевелясь, лицом к стене. Я тронул его за руку — она была холодна. Тогда я повернул рукоятку, но, снимая приемник, успел еще услышать:

— Слава Богу! Эти непонятные звуки прекратились!

Ночная работа шла своим чередом, когда я, поднявшись на спардек, доложил капитану «Малгалы», что его телеграфист умер.

Шарль Бельвиль

**СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ БЛИЗ
САНТА-ИЗАБЕЛЬ**

Кавалькада свернула с пыльной дороги и углубилась в тропический лес.

Дон Гомец, богатый и уже немолодой лесопромышленник из Санта-Изабель, бросил поводья и обратился к своему спутнику:

— Еще не более часа, и мы будем в моей гациенде. Я уже говорил вам, сеньор Альфонзо, что я отдал ее в полное распоряжение какого-то молодого англичанина. Я очень рад. По крайней мере, в лице его и двух индейцев из племени Ваупе, которых он взял себе в услужение, я имею прекрасных сторожей. Что он там делает — я не знаю: какие-то научные опыты. Несколько раз он был у меня в Санта-Изабель: молчаливый молодой человек. Раза два он приезжал в мое отсутствие и, как говорит Кончита, он очень умный и ученый малый. Мне и самому будет интересно узнать, чего он достиг своими опытами в эти три месяца с тех пор, как поселился здесь. Он хотел пробыть еще столько же, но теперь, если вы купите мой лес, он, вероятно, уедет.

Дон Альфонзо, юноша лет двадцати, плохо слушал старика Гомеца. Он ежеминутно оглядывался на следовавшую за ними группу верховых: двух бронзовых индейцев манао, слуг дона Гомеца, и молодую девушку впереди них, сеньору Кончту Гомец.

И каждый раз, как взгляд молодого человека встречался со взглядом молодой девушки, лицо ее вспыхивало нежным румянцем.

Доверенный своего отца, лесопромышленника в Сантареми, дон Альфонзо мало интересовался рассказами старика Гомеца о каком-то англичанине, думая о том, что, купив лес у Гомеца, недурно было бы и жениться на его дочери: можно быть уверенным, что вдоль всей Амазонки от Манаоса до Порто де Моц не найти другой такой красавицы. Дон Альфонзо, несмотря на свою юность, уже прошел всю Бразилию из конца в конец, от Рио-Гранде до Суль, до Маканы и знал толк в женщинах.

В пряной духоте экваториального леса повеяло вдруг свежестью.

— Мараре! — воскликнул один из манао.

И действительно, из-за чащи перепутанных лианами кустарников сверкнула перед путниками спокойная гладь одного из притоков Амазонки, величавой Мараре. Лес точно оживился от близости реки: в ветвях заскрипели какаду, и нередко кто-нибудь из спутников недовольно взглядывал вверх, когда плод мангового дерева, пущенный рукой обезьяны, рассыпался желтоватой мукой на его спине или шляпе.

II

Большая комната выбеленной гациенды вся уставлена по стенам большими и маленькими стеклянными бутылками и разноцветными жидкостями и порошками. Большой стол посредине ее служит, по-видимому, для химических исследований: он весь покрыт стеклянными колбочками и мензурками. Блестят медными частями микроскопы. В нескольких сложно составленных из стекла, меди и резины аппаратах идет, по-видимому, и сейчас какой-то химический процесс.

За другим столом, поменьше, склонился над бумагой и пишет молодой человек с выразительным англосаксонского типа лицом.

«...Таковы вкратце, дорогой профессор, мои успехи. Ваши указания и советы оказались блестящими. Здесь, на экваторе, все способствует моим опытам применения вашей теории о перерождении видов: тяжелый, полный электричества воздух насыщен плодородием. Черно-зеленая река, неслышно и медленно несущая свои воды у моей хижины, кажется потоком густой, могучей протоплазмы. Жирная земля, удобренная в течение тысячелетий, ждет, чудится, только толчка, чтобы начать рождать новые невиданные породы. Все дышит вокруг зарождением. И ваша теория, доро-

гой учитель, о том, что виды могут переходить в другие ступени, стоящие выше, не только путем тысячелетнего подбора, но и при помощи искусственного приспособления организма, доведения его до невероятного максимума величины, — кажется здесь ясной и бесспорной. Пока я закончил опыты над актиниями, чуть видимыми обыкновенно в микроскоп Оберлендера. Теперь у меня дивная разводка, которую я разместил в особые резервуары. Я назову этот новый вид *Actinia gigantea Ralphii*».

Письмо писалось еще долго. Затем молодой человек вложил его в конверт, написал адрес:

— Сэру Вальтеру Бурбэнку, профессору. 41, Котсмор-Гарден. Институт экспериментальной микроскопии, Лондон.

Затем, увидев через окно подъезжавшую кавалькаду, он быстро привел в порядок свой костюм и с оживившимся лицом направился навстречу приехавшим.

III

Обедали, когда солнце стало закатываться и его кроваво-золотые лучи проскользнули под тень пальм, где был накрыт стол. Царило странное стеснение. Молодой ученый был сдержан, хотя сквозь эту сдержанность сквозила неприязнь к неожиданному третьему гостю, дону Альфонзо. В свою очередь, последний, уловив выразительные взгляды, брошенные украдкой Ральфом на сеньору Кончиту, сделался молчалив и нахмурил брови. Только старик Гомец, не замечая настроения молодежи, рассказывал о разных вещах — о своей предстоящей поездке в Манаос, о приключениях на Рио-Негро, и наконец, когда была выпита последняя капля апельсинового вина, он предложил дону Альфонзо отправиться с штат на полмили вверх по реке, чтобы показать ему место для сплавки леса.

— Это нас не утомит, а утром мы наметим деревья и часам к десяти можем выехать уже обратно в Санта-Изабель.

Дон Альфонзо неохотно согласился на предложение, но

последовал за лесопромышленником, и через минуту их лошади скрылись в зелени леса.

За столом, где остались молодой ученый и сеньора Кончита, продолжало царить молчание. Нарушила его девушка:

— Как ваша работа, сеньор Ральф?

— Благодарю вас. Идет понемногу.

И добавил:

— Если вы интересуетесь, сеньора...

И, точно обрадованная <возможностью> вести разговор и не касаться, по-видимому, чего-то сокровенного, девушка живо схватилась за эти слова и почти воскликнула:

— О, да! Расскажите мне все, все...

Молодой ученый взглянул на нее, пожал незаметно плечами, помолчал. Потом заговорил равнодушно, холодно:

— Вы знаете, моей задачей было доказать, что путь, пройденный живым существом от инфузории до человека в течение сотен тысяч лет, может быть сокращен и превращен в простой лабораторный опыт.

— Я знаю это, — улыбнулась девушка, — и, право, вы мне и сейчас кажетесь колдуном...

— Все дело заключалось в том, — продолжал молодой ученый, — чтобы создать в организме, который требуется переродить в высший, целый ряд новых условий. Самым важным является увеличение их роста. Вы помните, я показывал вам месяц назад, здесь же, в большом стеклянном сосуде, странное животное; вы еще не хотели верить, что незадолго перед этим это животное трудно было разглядеть в микроскоп.

— Помню. Эти животные напоминали собой скорее цветы. Такие противные! Белесоватые, студенистые... И жадные: я, помню, бросала им бабочек и они моментально высасывали их. Вы случайно уронили один сосуд, и тогда от животного, упавшего на пол, остался посреди лужицы воды бесформенный слизистый комок. А между тем, у них такое красивое имя: актиния...

— Теперь они выросли еще больше, так что не помещаются больше в сосудах. Пойдемте, я сейчас вам покажу

их... Завтра-послезавтра я приступаю к главной части своей задачи, — к опытам перерождения.

Они пошли по тропинке, направляясь к берегу Мараре. Маленький искусственный канал показался слева. Он питал водой из реки небольшой бассейн, диаметром около сажени, вырытый на расчищенной от деревьев прогалине. Около бассейна стояли ящики и сосуды вроде тех, которые были в комнате Ральфа, с химическими веществами.

— Сейчас я вам покажу много интересного... А пока... а пока, скажите мне: почему вы так давно не приезжали? Что значит этот дон Альфонзо? Неужели вы переменились ко мне? Неужели вы забыли все ваши слова, все ваши уверения, которые вы произнесли там, в Санта-Изабель? Говорите же, говорите...

С лица девушки сошла краска. Потупившись, она молчала, замедляя в смущении шаги.

Потом решимость овладела ею. Она вскинула голову и начала:

— Сеньор Ральф! Сейчас я все скажу вам...

Но намерению девушки не удалось осуществиться. В кустах послышался топот лошадей, и через момент на прогалину выехали дон Гомец, дон Альфонзо и сопровождавший их один из слуг Ральфа.

— Вы здесь?! — крикнул дон Гомец. — А мы не доехали до пристани: стало темно и дон Альфонзо предпочел вернуться, обещая мне завтра утром встать пораньше и проехать к месту сплавки.

Дон Альфонзо слез, между тем, с лошади, передал поводья слуге и, сумрачный, молча бросал взгляды на обоих молодых людей.

— Сеньор Ральф, — продолжал дон Гомец, — берите-ка лошадь дона Альфонзо и поедemте к дому, я вам кое-что расскажу... молодежь вернется сама.

Ральф пристально взглянул на донну Кончиту, но ее глаза были потуплены. Он молча взял повод у слуги и, сказав последнему:

— Оставайся здесь, Намбигура, — тронулся рысью вслед за доном Гомецем.

Молодые люди остались одни. Намбигура, спешившись, прислонился к дереву на опушке прогалины...

IV

Знойная экваториальная ночь уже наступила, когда донна Кончита и дон Альфонзо вернулись в дом в сопровождении Намбигуры, и по их лицам молодой ученый ясно догадался о том ответе, который осталась ему должна сеньора Кончита.

Молодая девушка прошла прямо в дом. Дон Гомец уже спал. Ральф стоял лицом к лицу с соперником и стискивал зубы своего бешенства при виде этого самодовольного, уверенного и радостного лица. В темноте нервно вспыхивали огоньки сигар.

— Я немного устал, — нарушил молчание дон Альфонзо, — хорошо было бы выкупаться. Но кайманы в Мараре слишком опасны ночью, хотя кой-кому было бы на руку, если бы они съели меня.

Вызывающий тон его не вызвал никакого ответа.

— Нет, и самом деле, — продолжал более мирно дон Альфонзо, — я бы с удовольствием выкупался. Там, в лесу, на прогалинке у вас вырыт какой-то пруд. Можно мне отправиться туда?

— Туда?! — воскликнул Ральф изумленным голосом, но тотчас же подавил движение и продолжал: — Впрочем, отчего же?! Там вам будет удобнее... и безопаснее. Во всяком случае, кайманов там нет, за это я поручусь.

Он быстро обернулся на какой-то шум сбоку и, разглядев Намбигуру, с напряженным и изумленным выражением лица прислушивавшегося к разговору, крикнул:

— Намбигура! Тебе приказано было не являться без зова. Ступай!

— Пойду и я, — весело проговорил дон Альфонзо и направился к лесу.

Джемс Ральф остался на веранде один. Он следил за белым бесформенным пятном пропадавшей в темноте фигуры испанца, и лицо его озарялось нехорошей улыбкой...

V

Сжавшись в клубок и не дыша, маленький юркий индеец Намбигура притаился за деревом, зорко вглядываясь острыми глазами в темноту прогалины, где у бассейна виднелась белая фигура.

Взошла луна, и теперь в ярком свете ее лучей видно было, как раздевается дон Альфонзо на берегу бассейна. Он аккуратно складывал одежду на траву, потом выпрямился, обнаженный, весь облитый сиянием луны. Потом, нагнувшись над поверхностью бассейна, он точно измерил его глубину, и, взмахнув руками, бросился в воду.

Раздался всплеск... и потом сдавленный крик. И сразу наступило молчание...

То, что увидел вслед за тем Намбигура, заставило его затрепетать от ужаса. Глаза его чуть не вылезли из орбит, холодный пот облил тело.

Нелепо махая руками, из воды стало вылезать тело донна Альфонзо. Ноги его судорожно карабкались по склону берега. Точно борясь с кем-то невидимым, точно таща за собой какую-то огромную тяжесть, обнаженная фигура донна Альфонзо, колыхаясь, очутилась на берегу. Но, видимо, силы изменили несчастному и он остановился.

Тут произошло самое ужасное: точно поддерживаемое какой-то невидимой силой, тело юноши медленно поднялось на вышину фута от земли, оставаясь висеть в воздухе, потом медленно склонилось на один бок, на другой и, наконец, медленно стало опускаться на землю...

Обезумев от ужаса, Намбигура, урча что-то непонятное, бросился прочь.

На прогалине продолжало царить безмолвие ночи...

VI

Залитые палящими лучами утреннего тропического солнца, стояли у трупа дона Альфонзо старый лесопромышленник и молодой ученый.

— Я дорого бы дал, чтоб узнать причину смерти, — сурово и сосредоточенно говорил дон Гомец. — На теле никаких знаков. В бассейне я не нашел ни водяных змей, ни ядовитых жаб. Несколько водорослей на его теле совершенно безвредны.. Что скажете вы, сеньор Ральф?

Молодой ученый молчал. Дон Гомец полуприкрыл труп платьем покойного.

Раздался топот лошади и на прогалину вихрем внеслась донна Кончита. Она быстро сошла с лошади. Губы ее были стиснуты. Не смотря на обоих мужчин, она нагнулась над мертвым и поцеловала его лоб, шепча слова молитвы. Потом, шатаясь и не сдерживая больше рыданий, она бросилась в объятия к отцу.

Тихо было на прогалине... С далеких Кордильер прибежал ветерок, закачал листву, и земля вокруг покойника как-то странно заискрилась, отливая всеми цветами радуги.

Взгляд девушки механически остановился на этом переливе красок. В ее глазах блеснуло отражение какой-то мысли. Она выскользнула из объятий отца, бросилась к трупу и с земля, казавшейся на первый взгляд влажной от той воды, которую увлек с собой покойник из бассейна и которая уже успела почта высохнуть под лучами солнца, зачерпнула рукой что-то студенистое, прозрачное, какую-то слизь.

Потом, пристально глядя в лицо Ральфу, она медленно опустила руку и студенистая слизь шлепнулась на землю. И так же медленно рука ее поднялась к поясу, нащупала здесь револьвер и, вытянувшись по направлению к Ральфу, выпустила в него все шесть зарядов бульдога.

Без стога молодой ученый кровавой массой рухнул у берега бассейна...

Эвелина Лемэр

НАСЕКОМОЕ

Жорж Дюко приехал в Шампель из Парижа на два дня, чтобы провести в кругу семьи Троицу: это был примерный сын, никогда не упускавший случая повидать своих старых родителей.

Домик стариков Дюко был окружен очаровательным садом, в котором пышным цветом распускались бегонии, гвоздики и розы; в расположении грядок и в подборе тонов видна была любящая, умелая рука.

Прогуливаясь ранним утром по тропинкам сада и ведя со своими родителями нежную и беспредметную беседу, Жорж Дюко остановился перед кустом, на котором аела великолепная роза. Она не отличалась той вычурной резьбой лепестков, которая свойственна цветам, выращенным в результате долгого и упорного труда садовода, но от ее массивной бархатной сердцевины шел аромат простоты и силы; казалось, что все запахи природы сосредоточились в этом цветке, едва заметно дрожавшем на длинном и гибком стебле.

Жорж Дюко долго смотрел на розу умиленным взглядом: он любил цветы, животных и детей, людей же боялся и избегал. Он вдоволь налюбовался темными переливами лепестков, тонким рисунком жилок, пронизывавших маленькие колючие листочки, и пышным богатством желтой цветочной пыли, насыщавшей чашечку растения. Потом взгляд его упал на небольшое насекомое, быстро-быстро проползавшее между лепестками; желтоватые кольца, окружавшие его тело, длинные усики и большое количество ножек придавали ему неприятный и даже отталкивающий вид.

— Тебе нравится эта роза, дитя мое? — спросила мать Дюко, прикасаясь к плечу сына. — Это полудичок. Если хочешь, мы ее срежем и поставим в твою комнату.

Жорж хотел сказать, что ему жалко убивать это прекрасное Божье творение, и что цветок гораздо нежнее и красивее на кусте, чем в стакане с водой. Однако, он не успел вымолвить слова, как мать быстрым жестом притянула к себе стебель и, надломив его, протянула розу сыну.

— Понюхай, как славно она пахнет!

Пожав плечами, как бы в знак того, что не он повинен

в этом преступлении, Жорж поднес розу к лицу и стал глубокими вздохами впитывать ее простой и сильный аромат.

— Ты права, я редко встречал более приятный запах... Ах, мне что-то попало в нос!

Не выпуская цветка из рук, он нажал пальцем на правую ноздрю и стал с силой выдувать воздух из левой с целью удалить попавшее туда инородное тело.

— Это, вероятно, цветочная пыль, — сказала мать, поглядывая на него с сочувствием.

— Нет, это что-то живое! — ответил раздраженно Жорж и, как будто что-то вспомнив, стал перебирать лепестки розы. Насекомого, которое он только что видел, там не оказалось. Со все возрастающим беспокойством Жорж сорвал, один за другим, все лепестки, раскрошил сердцевину, просеял на руке остатки — насекомого не было. Тогда, обратив к матери внезапно побледневшее лицо, он произнес глухим голосом:

— Это — бестия!

— Какая бестия? — спросила мать, в свою очередь обеспокоенная необычным видом сына.

— Отвратительная бестия, которая только что ползала по цветку! Я ее втянул носом, нюхая цветок, и теперь чувствую, как она забирается все выше... вот сюда!

И, побледнев еще пуще прежнего, пробормотал:

— Ты знаешь, это очень опасно... Она может забраться в самый мозг!

Мать растерялась:

— Да ты не волнуйся так... Подуй хорошенько, она выскочит обратно. Вот так! Еще раз! Теперь, вероятно, ее уже нет...

Оба они, склонившись над носовым платком, тщательно его разглядывали.

— Нет ее, нет! — плачущим голосом твердил Жорж. — Ведь ты сама видишь, что нет... Да кроме того, я ее чувствую в носу!

Теперь он нажимал пальцем уже не ноздрю, а переносицу. Лицо его от непрерывного усилия побагровело.

— Ты еще, упаси Боже, наделаешь себе что-либо, — взмо-

лилась мать. — Перестань дуть! Пойдем, спросим отца...

Старик Дюко расхохотался, когда увидал раскрасневшееся лицо сына, его слезящиеся глаза и услышал рассказ о происшествии:

— От этого еще никто не умер, дитя мое! Кому из нас не попадала мошка в нос?..

— Это не мошка, отец! Если бы ты видел, какая это отвратительная бестия!

— Бестия, бестия... Не скорпионы же ползают по нашим розам! Да ты, вероятно, давно уже выдул ее. Теперь у тебя разыгралось воображение.

Жорж обиделся, как тяжело больной, которому не верят, что он болен. Он поднялся в свою комнату, и весь день старики слышали, как их сын ходил взад и вперед, чихал, сморкался, кашлял и в порывах злобы расшвыривал вокруг себя стулья.

— Ты бы пошел посмотреть, что с ним, — тревожилась мать.

Но отец, попыхивая трубкой, пожимал плечами и отвечал:

— Это воображение, тут ничего не поделаешь. Он проспит и забудет наутро.

Но Жорж, не сошедший вечером к столу и не впустивший в комнату отца, который решил, в конце концов, уступить настояниям жены и заглянуть к сыну — провел бессонную ночь. Стоило ему положить голову на подушку и остаться недвижимым несколько минут, как он начинал явственно чувствовать медленный, но неуклонный ход чудовища: оно карабкалось вверх, все время вверх, пробуравливая ткани упорным и непрерывным движением своих бесчисленных ножек... Это было больно, страшно и омерзительно.

«Еще час или два, и она доберется до мозга! — думал с ужасом Жорж, сжимая челюсти и колотя себя кулаками по голове. — Она доберется до мозга, и я либо умру, либо сойду с ума! Что делать? Как ее остановить?»

На рассвете Жорж собрал свои вещи, уложил наспех чемодан и уехал в Париж, не попрощавшись с родителями.

Путешествие было ужасным. Каждое сотрясение вагона, каждый толчок отзывались в голове Жоржа острой болью. Ему казалось, что обеспокоенная тряской бестия с удвоенной силой прогрызает свой путь через кости и мясо...

Служивцы Дюко, увидав его распухший нос, багровое лицо и надувшиеся вены на лбу, перепугались.

— Что с вами случилось, старина? — спросил его управляющий конторой. — Ну и вид же у вас!

— Не правда ли, у меня скверный вид? — обрадовался Жорж первому слову сочувствия, которое ему довелось выслушать. — Это немудрено! Подумайте, какая со мной приключилась страшная вещь...

И он подробно рассказал шефу историю с чудовищем, попавшим ему в нос и засевшим там.

— Вам нужно покидать доктора, — посоветовал управляющий, выслушавший рассказ полу-сочувственно, полу-скептически. — Что бы там ни было, но в таком состоянии ходить нельзя...

Жорж поблагодарил начальство за сочувствие и сел работать. Постепенно мысли его отвлеклись от образа страшного насекомого, и голове несколько полегчало. Вечером, выйдя из бюро, он прошелся по бульварам; от свежего воздуха стало совсем хорошо, и дома он поел с аппетитом. Однако, это улучшение продолжалось недолго: едва он лег в постель, как началась прежняя ноющая, сверлящая, невыносимая головная боль. Ему казалось, что тысячи раскаленных докрасна буравов вертятся в его мозгу, что голова пухнет, пухнет и вот-вот разлетится вдребезги...

Утром он не выдержал к пошел к врачу. Тот выслушал его рассказ, покачал головой и сказал:

— По-видимому, у вас сильная нервная мигрень. История же с насекомым, грызущим мозг — нелепость. Не может насекомое жить у вас в носу, да еще добираться до мозга... Ерунда какая! Это — плод вашего воображения. Я должен вас серьезно осмотреть, чтобы узнать причину мигрени...

— Никакой мигрени у меня нет! — вспыхнул Жорж. — Я прошу вас избавить меня от насекомого! Я умру от этого! Я с ума сойду, если вы его не вытащите!

Врач пожал плечами.

— Я не хирург, — сказал он сухо. — Обратитесь к моему коллеге, профессору Варнье... Могу дать вам письмо к нему.

* * *

Знаменитый хирург выслушал Жоржа, не перебивая его ни словом и не спуская с него глаз. Дюко рассказал с самыми мельчайшими подробностями, как он впервые заметил страшное насекомое, как неосторожно втянул его носом и как оно проникло в мозг, пожирая его и наполняя постепенно всю голову. Размахивая руками, он показал приблизительные размеры «бестии», описал, какие у нее были усики, кольца и ножки... По его словам выходило, что у него в носу сидит нечто вроде крокодила.

Когда Жорж закончил, наконец, свой рассказ, профессор так же молча подсчитал у него пульс, выстукал голову, исследовал темя при помощи лупы и, сев опять в кресло, задумался. Жорж, следивший с замиранием сердца за выражением его лица, не выдержал.

— Ну, что, доктор? Безнадежно? — спросил он глухо.

— Случай серьезный, — ответил профессор Варнье, — но не безнадежный. Конечно, вы ошибаетесь, думая, что насекомое заполнило ваш мозг: когда болит зуб, всегда кажется, что он длиннее других... Бестия, несомненно, увеличилась в объеме за эти два дня, но с ней еще можно справиться. Вы хорошо сделали, что обратились ко мне.

Жорж Дюко пил слова профессора, как нектар. Наконец-то нашелся человек, который его понимает! Чувство удовлетворения, вызванное этим сознанием, было так сильно, что на время оно поглотило и страх, и ощущение боли.

— А что же нужно делать, доктор? — спросил он.

— Средство одно: трепанация черепа. О, не пугайтесь, теперь это очень распространенная операция, мне приходится продельвать ее иногда два-три раза в день. Я извлеку из вашей черепной коробки насекомое, и вы сразу выздоровеете.

Жорж растерянно посмотрел на доктора.

Это же растерянное выражение он сохранил и позже, лежа на операционном столе, когда ассистент профессора накладывал на него анестезирующую маску. Потом перед глазами его пошли синие и желтые круги, в ушах раздался томительно-приятный звон, тысячаеное насекомое прыгнуло ему на нос и замахало усиками, доктор в белом халате, странно выгибаясь, рос в вышину, пока не достиг головой потолка... Синие круги завертелись еще быстрее, насекомое металось взад и вперед, а доктор, нагнувшись с потолка, каркнул: «Мы вас вылечим!». Мотом мягкая, влажная тьма заволокла сознание Жоржа.

.

Очнулся он на санаторной кровати. Над ним склонилось внимательное лицо профессора. Жорж хотел спросить его, что случилось, почему он лежит на постели, отчего так бессильно вытянулось перед ним его собственное тело — но у него вырвался только стон.

— Тсс... — промолвил профессор, прикладывая палец к губам. — Вам еще нельзя говорить. Если вы будете паинькой, я покажу вам бестию. Все сошло благополучно.

И он поднес к самым глазам Жоржа Дюко блюдечко, на дне которого барахталось насекомое с усиками и множеством маленьких ножек. Жорж блаженно улыбнулся, повернулся лицом к стене и мгновенно заснул.

* * *

Никогда еще жизнь не казалась Жоржу Дюко такой прекрасной, как по выходе из клиники профессора Варнье. Только легкое чувство усталости во всем теле да небольшой шрам над виском напоминали ему о прошедшем кошмаре; боли в голове исчезли бесследно. Жорж написал родите-

лям длинное письмо с описанием происшедших событий. Насекомое же он сохранил в спирту, в специально заказанном граненом флакончике, и охотно показывал его знакомым, как вещественное доказательство редкостного случая, потрясшегося над ним.

Месяцев через восемь после описанных событий Жоржу Дюко довелось присутствовать на традиционном обеде бургундского землячества в Париже. Рядом с ним сидели два студента, забавлявшие своих дам рассказами из веселой жизни Латинского квартала. Жорж не вслушивался в их разговор, но произнесенное одним из них имя профессора Варнье привлекло его внимание.

— Один из моих коллег, — рассказывал студент, — состоит ассистентом у знаменитого хирурга Варнье. Он передавал мне однажды о следующем случае, свидетельствующем о силе внушения. К Варнье пришел как-то больной, жаловавшийся на невыносимые боли в голове и рассказывавший, что ему в нос забралось какое то насекомое, доползшее до мозга и разгрызавшее его...

— Ужасно! — разохались дамы.

— Варнье понял, что у пациента сильная нервная мигрень, усугубляемая самовнушением, и что никакие уговоры и убеждения тут не помогут. Он принял рассказ больного всерьез, посоветовал сделать трепанацию черепа, усыпил его на операционном столе, произвел небольшой надрез на коже головы, чтобы оставить шрам, и велел отнести пациента на койку. Когда он очнулся, Варнье показал ему насекомое, которое он с большим трудом отыскал по описанию, данному ему больным: это была небольшая мокрица, которая водится на садовых цветах. Несколько дней спустя пациент выписался из клиники: он был совершенно здоров.

— Изумительно! — восхищались дамы.

.

Жорж возвратился домой, не досидев до конца обеда. Голова его шумела, как паровой котел. В висках мучитель-

но бились жилки. Он повалился в кровать, как был, в смокинге и, сжав голову обеими руками, застонал от боли, ярости и обиды.

— Значит, доктор обманул меня! Он испугался ответственной операции, не решился сделать последнюю попытку спасти меня! Он предпочел организовать гнусную комедию!

Теперь Жорж понимал, почему у него время от времени появлялось какое-то чувство тяжести в голове, почему иногда ночью так мучительно ныли виски. Насекомое не умерло, оно было только оглушено хлороформом... Оно притаилось, но ждет лишь случая, чтобы с прежним упорством приняться за свою разрушительную работу. Но этому не бывать! Если врач трусливо отказался от выполнения своего долга, то он сам расправится с мерзкой бестией! Вот она снова начала шевелиться... расправляет свои омерзительные кольца... перебирает ножками... скорее!

Жорж встал с постели, ощупью добрался до туалетного стола, вынул бритву, раскрыл ее и, хорошо нацелившись, провел по лбу, нажимая от одного виска к другому, ровную черту, из которой хлынула на лицо кровь...

.

Консьержка, пришедшая утром убирать комнату, нашла труп Жоржа Дюко в луже застывшей крови.

— И кто бы мог подумать! — докладывала она полицейскому комиссару, производившему первое следствие. — Такой спокойный молодой человек! И отчего это он покончил с собой, да еще таким ужасным способом — ума не приложу!

[Без подписи]

ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ



— Но где же синьора Франциска до Солио? Скажи пожалуйста, Раймонд? Женишься ли ты на этой красавице?

Раймонд и я встретились в Лондоне в доме одного нашего общего приятеля после поездки в Болонью несколько месяцев тому назад. Это было очень приятное путешествие. Раймонд, его мать, три сестры, я, и две американки, с которыми мы познакомились в отеле «Сан-Марко», — все мы сдружились и путешествовали вместе.

Американка-мать была красивая и величавая, как статуя, женщина. Серьезность с оттенком печали сказывалась в тоне ее мелодичного, низкого голоса и во взгляде больших, дивных глаз. Дочь — красавица, походившая на креолку, юное, светлое, нарядное, заразительное, веселое создание.

Ее прелестное, словно изваянное личико никогда не теряло своего ясного спокойствия; ни жаркая погода, ни различные увеселения не влияли на ее характер, не производили ни малейшей перемены в ее изящной безукоризненной манере держать себя.

Лицо ее... описать его невозможно. Оно было прекрасно, но сказать, широкие ли у нее брови или узкие, короткий или длинный нос, тонкие или полные губы — это значило — не сказать ровно ничего. Главная прелесть этого ли-

ца заключалась в особенности его очертаний. Глаза, небольшие коричневатые глаза со странным золотистым отблеском и обаятельным взглядом, казались совсем желтыми в лучах солнца. Поэтому я дал ей название «золотоглазой девицы». Нужно было видеть ее, испытать на себе обаяние ее присутствия, все очарование этого существа, чтобы понять, какое неотразимое впечатление производила она на всех, кто видел ее.

Весьма понятно, что, увидав Раймонда Керра в Лондоне, я сейчас же справился о «золотоглазой красавице».

Ни для кого не было секретом, что Раймонд Керр намеревался предложить руку и сердце прекрасной креолке.

Лицо Раймонда вдруг побледнело и исказилось. Он тяжело вздохнул, а я опустил глаза, проклиная свой болтливый язык.

«Вероятно, она умерла!» — подумал я.

— Старый друг мой, — произнес он дрогнувшим голосом, — я рад, что ты спросил об этом, хотя мне тяжело вспоминать. Мне будет легче, если я скажу тебе все. Пойдем ко мне домой, и я открою тебе всю ужасную истину!

Я молча последовал за ним, и мы шли, не говоря ни слова, до его дома в эту ясную октябрьскую ночь...

Раймонд поставил около меня ящик с сигарами, предложил мне вина, но я заметил, что сам он набил себе трубку черным табаком и залпом выпил стакан вина, словно желая избавиться от неприятного вкуса во рту.

— Ты, конечно, знаешь, что я страстно любил Франциску, — начал он, — и в тот день, когда ты уехал от нас, решил сделать ей предложение. Случай благоприятствовал мне. В Болонье открылась ярмарка, и предполагалось празднество в одной из окрестных деревень. Мы все посетили ярмарку, но остальные спутники намеревались отправиться на праздник. Франциска, к моему удивлению, предпочла остаться дома, и я решил извиниться и ускользнуть к ней. Скоро я нашел удобный случай отделаться от общества, заявив, что солнце и ярмарочная суета причиняют мне сильную головную боль.

Был тихий лунный вечер. Я незаметно пробрался в дом

и спрятался за занавесью в одной из ниш, надеясь подкараулить Франциску на лестнице.

Устав ожидать ее, я хотел уже крикнуть: «Есть ли кто-нибудь дома?» — как вдруг какой-то странный шорох в соседнем зале заставил меня молчать. Это был такой звук, точно что-то медленно ползло по полу.

«Вор!» — мелькнуло в моем мозгу, и я сидел тихо в своем углу, раздумывая о том, что борьба с негодяем помешает мне переговорить с любимой женщиной. Серебристый свет месяца слабо освещал комнату, но в тени занавеса меня было трудно заметить. Наконец, дверь тихо открылась, как будто ее дернули снизу, и в комнате появилась Франциска. Но как? В каком виде?

Окутанная с головы до ног волнами своих роскошных полос, она ползла или, скорее, скорее извивалась какими-то змеевидными движениями по полу, высоко подняв голову. Вся ее нежная грациозная фигура ясно вырисовывалась на полу.

Я подумал, что меня поразил солнечный удар и что разгоряченный мозг рисует мне ужасное видение, я хотел крикнуть, но язык мой не шевелился, и я не мог издать ни малейшего звука.

Совсем ошеломленный, в какой-то агонии, сидел я в углу и смотрел, как прелестная девушка ползала по комнате с выражением какого-то иступленного наслаждения на лице, которое напомнило мне старинные легенды о тифонах.

Рассудок мой окончательно помутился, когда она подползла близко ко мне. Я убил бы ее, наверное, или превратился бы в совершенного идиота!

К счастью, припадок ее, вероятно, закончился и, пролежав ничком некоторое время на полу, она устало потащи-лась назад, и я слышал, как она ползком спускалась по ступеням лестницы.

Я выскочил из угла и, как сумасшедший, выбежал на свежий воздух и бросился по дороге в деревню. Голова моя шла кругом.

Я постарался овладеть собой, когда встретил слуг, торопившихся домой раньше остального общества.

За ужином я увидел Франциску, великолепно одетую, спокойную, и только на мой взгляд она казалась совсем другой. В ней сказывалась некоторая томность, в глазах не было блеска и игры.

Что-то вроде ужаса и отвращения к ней зашевелилось во мне.

Я дурно спал эту ночь, конечно. Мне припомнились все старинные легенды о женщинах-змеях, начиная с первой жены Адама до прекрасной Мелузины, женившей на себе моего тезку, Раймонда Лузиньяна.

Несомненно, в этих старых легендах кроется некоторая доля правды. Я, собственными глазами, видел старинный припадок орфидианизма — этого отвратительного возвращения к праотеческому типу, которое ясно подтверждает теорию эволюции. Я был измучен, поражен, разбит и только наступление утра принесло с собой некоторое успокоение. Я начал мыслить спокойнее и логичнее.

Бедная девушка достойна всякого сожаления. Могла ли моя любовь успокоить ее и окончательно излечить от странных припадков, или это был природный инстинкт, который сказывался в ней время от времени, через правильные промежутки? Все эти мысли мучили меня, пока я одевался. Наконец, я решил поговорить с матерью, самым деликатным образом коснувшись щекотливой темы.

Я нашел ее в саду и предложил ей вопрос: замечала ли она склонности Франциски к труднейшим гимнастическим упражнениям?

Лицо матери моментально утратило присущую ему важность и серьезность. Ужас и страх исказили ее прекрасные черты.

— Вы что-нибудь видели? Я знаю, что вы видели. Увы! Вы не обманете меня, милостивый государь. Мое бедное, несчастное дитя! Увы!

Она тихо зарыдала.

— Успокойтесь, дорогая леди, — сказал я, — вероятно, эта особенность вашей дочери не поддается медицинскому лечению?

— Не знаю, боюсь, что да. Я страшно боялась, когда вы

покинули нас вечером, ссылаясь на головную боль, потому что видела восторженный взгляд дочери, устремленный на клоуна, который кривлялся и извивался там, на ярмарке, днем. Я чувствовала, что это зрелище разбудило в ней дремавший инстинкт и вызовет новый припадок. Хотя, правду сказать, я еще надеялась, что ваше возвращение домой могло остановить и отвлечь ее. Эта ужасная болезнь разбила сердце ее отца и отравляла мою жизнь, когда Франциска была еще ребенком. Доктора уверяли меня, что все это пройдет, когда она сформируется.

Сердце мое теперь окончательно разбито. Кто будет любить и беречь ее, когда меня не станет?

Мистер Керр, во имя Господа, прошу вас, оставьте нас, уезжайте! Я вижу по вашим глазам, что ваше доброе сердце борется со страхом и отвращением к ней. Дочь моя обречена нести родовое проклятие, унаследованное ею не знаю от кого. Забудьте нас, прощайте навсегда!

Все это истинная правда, друг мой, старый приятель! Мать Франциски умерла три месяца тому назад и Франциска....

Да поможет Господь несчастной девушке! Я никогда не видел больше ее!

А. Ганс

МАСКА УЖАСА

Его в насмешку звали «человек маски». В тридцать лет Эрмон был похож на Паганини. Бледное, исхудавшее лицо, безумный взор, вечно подстерегавший выражение страдания на лицах других, мрачное расположение духа, подлинный талант — все это отдалило от него школьных товарищей и профессиональных друзей.

Только жена его Люсиль и маленький сынишка Пьер удерживали его в жизни, когда он, с непонятым упорством, в течение десяти лет пытался осуществить свою мечту: вылепить маску ужаса во всем его страшном величии. Но кучи гипсовых обломков росли и над ним только смеялись. Он по-прежнему оставался бедняком, а разум его мутился с каждым днем все больше и больше.

Насмешки приводили его в бешенство. Благодаря болезненно острой наблюдательности, предшествующей безумию, ему всюду мерещилась модель. Встречал ли он на улице прохожего со складкой страдания в углу рта, он тотчас же бежал к себе и пытался закрепить это выражение в глине. В настоящую минуту он с ожесточением стремился соединить в одной маске все те выражения ужаса и страдания, что отдельными чертами запечатлены были в его слепках.

Наступил канун последнего дня, когда он решил отправить свою скульптуру на выставку. Два месяца тому назад, в припадке своего начинающегося безумия, он предпринял последнюю мучительную попытку: воплотить в глине выражение собственного лица, искаженного страданием. Доктор предписал ему полный отдых и в это то время он, несколько успокоившийся, более твердыми руками сотворил свое чудо.

Накануне отправления маски на выставку, он решил зайти к одному модному скульптору, посредственному таланту, но имевшему у публики большой успех.

— Опять все то же! — воскликнул скульптор, увидев маску Эрмона. — Чтобы заслужить любовь публики, в скульптуре не надо выходить из области голого тела... Что такое маска ужаса? К тому же, она производит вовсе не такое сильное впечатление, чтобы можно было бы не замечать недос-

татков в работе. Например, взгляните на эту странную, искусственную линию...

Но Эрмон уже ничего не слышал. Глаза его расширились, и он задумался... Перед ним мелькнуло его отражение в зеркале, выражение муки, что он старался воплотить в глине. Десять лет неустанной, упорной борьбы... И никто теперь не поможет ему облегчить тяжесть его мучений... Если бы его поняли, он мог бы отдохнуть, успокоиться, дать передышку своему усталому мозгу... Но нет, все кончено, он потонет в неизвестности и забвении.

Он вернулся домой и, в припадке отчаяния, бросил свой бюст к ногам жены и сына. Маленький Пьер так и подскочил от испуга. Выражение ужаса на его лице отразилось так неподдельно и определенно, что отец подбежал к нему, крепко схватил его за руку и, вытащив на середину комнаты, бросил его на колени... То же выражение появилось опить, и Эрмон, схватившись за виски, вдруг залился безумным смехом, ударившим, как нож, по сердцу его жены.

— Испугайся опять! Испугайся опять! — кричал он сыну. Но глаза безумца напрасно искали теперь ту же трагическую красоту, так поразившую его в лице сына за минуту перед тем. Ни угрозы, ни насилие не могли заставить ребенка восстановить мелькнувшее на один лишь момент выражение лица.

Тем не менее, Эрмон лихорадочно принялся за работу, чтобы быть готовым к утру следующего дня. Люсиль, заметив возрастающую лихорадку мужа, вырвала ребенка из его рук и уложила его в постель. Мальчик был сильно потрясен. Люсиль, вся в слезах, провела большую часть ночи у его постели и, когда он успокоился, перешла в соседнюю комнату, чтобы прилечь.

Муж уснул раньше, но лицо его по-прежнему подергивалось, точно он томился болезненными видениями.

Среди ночи Эрмон вдруг проснулся и почувствовал какую-то необычайную легкость во всем теле. Картины бреда, мелькавшие в больном мозгу, видимо, приводили его в восторг, и он принялся тихо и беззвучно смеяться. Потом он встал и осторожно нащупал дверь в комнату сына; ему по-

казалось, что она отворилась сама собой. Сlepки головы его сына, казалось ему, обступили его и сжимали его виски.

— Тише... тише... Я иду... работа меня ждет...

Сумасшедший отдавал себе ясный отчет в своих желаниях. И, с определенным уже планом, тихо вошел в комнату Пьера...

Спокойно и тщательно стал осматривать засохшую глину. Потом вынул ребенка из постели и, стараясь успокоить его поцелуями, перенес в мастерскую и усадил на возвышение для моделей. Затем он начал обкладывать глиной ноги Пьера. Сначала до щиколоток, потом и до колен. Ребенок, смеясь, тщетно старался освободить свои ноги... Но безумный не останавливался и продолжал свою страшную работу; он дошел уже до пояса...

— Папочка, мне тесно... Зачем ты это делаешь?..

Глина дошла до груди, и мальчику стало страшно. Лицо ребенка так ясно выражало это, что сумасшедший удвоил энергию.

— Я задыхаюсь... я не могу больше двинуть рукой... что скажет мама?! Мне тесно... Мама!.. мама!.. мама!...

Глина дошла до горла. Лицо маленького мученика посинело и страшно исказилось. Он хотел закричать, но звук замер в сдавленном горле... На губах показалась пена. Мальчик был мертв... Перед этой застывшей маской неподдельного ужаса Эрмон на мгновение остановился в созерцании и потом лихорадочно принялся за работу.. Ему показалось, что с улицы его кто-то зовет. Он отворил окно, и среди ночной тишины раздался его безумный смех.

— Ха!.. ха!.. Все страшилища бегут ко мне, чтобы полюбоваться на мое творение!.. Целые толпы чудовищ!.. Милости прошу, смотрите!.. Ха...ха!.. Здравствуй, Квазимодо!.. Полифем!.. Терсит... Калибан... Входите, входите все!.. Видите, я вас победил!..

Вдруг он услышал за спиной какой-то шорох. В порыве непобедимого страха, он спешно стал покрывать глиной все лицо мертвого ребенка. У него не хватило глины, и он побежал, чтобы достать новую...

Бледная, со спутанными волосами, растерянная, стояла

на пороге Люсиль и повторила несколько раз:

— Мой сын... Где мое дитя?..

— Тише... он здесь...

И сумасшедший указал на глиняную глыбу.

— Ты болен, у тебя лихорадка. Ты говоришь, что Пьер здесь... Где?..

— Здесь, говорю тебе, здесь, — сказал он опять, с безумным смехом указывая на глину.

Люсиль в смертельной тревоге стала осматривать углы мастерской, разрывая слепки. Он приложил палец к губам и тихо произнес:

— Разве ты не понимаешь? Подожди, я тебе покажу.

И он снял кусок глины с верхушки глыбы. Несчастливая мать, едва держась на ногах, увидела лоб, широко открытые, полные мертвого ужаса глаза, судорожно искривленные губы... И, как бы не веря своим глазам, она бессознательно все повторяла:

— Где мое дитя?... мое дитя?..

Вдруг истина пронзила ее, как молния. Она бросилась к трупу и стала ногтями отрывать глину, воя, как раненый зверь.

— Мой мальчик... мой мальчик!..

Но сумасшедший продолжал работать над маской, не обращая внимания ни на безумные крики матери, ни на мертвое лицо сына.

Люсиль без чувств упала на пол...

Эрмон с презрением посмотрел на нее и пожал плечами. Прищурился одним глазом, он принялся сравнивать свой слепок с оригиналом и, довольный своей работой, захихикал. Холодный пот выступил у него во всему телу, он закурил папиросу...

Присев к столу, он написал знаменитому скульптору, что достиг, наконец, совершенства, и просил его прийти посмотреть его «маску ужаса»... Затем он встал и медленно подошел к раскрытому окну.

Ночь была светлая и теплая. Полная луна плыла по небу, и успокоенный Эрмон сидел теперь и тихо плакал безумными слезами...

Андре де Лорд
МЕРТВОЕ ДИТЯ

Я читал утром, в своем бюро, рапорты служащих, когда в комнату вошел мой секретарь и сказал, что какой-то рабочий хочет говорить лично с комиссаром полиции.

По моему приказу, он был допущен в мой кабинет, и я предложил ему объясниться.

Вместо ответа, он вытащил из своего кармана бумажный сверток, на котором женским почерком было написано:

«Господину комиссару полиции».

— Вы нашли этот сверток? — спросил я.

— Да, господин комиссар.

Он рассказал мне, что, работая над возведением стены одного дома в квартале Вожирар, он увидел, как возле него упал пакет, но не мог определить, из какого окна его выбросили. Считая, что только я один вправе вскрыть адресованное мне письмо, он и доставил его по назначению. Я поблагодарил и отпустил его. Потом принялся за чтение.

«15 и ю н я. Когда я воспитывалась в монастыре, то в минуты отдыха записывала каждый вечер свои дневные впечатления. И теперь, в дни подневольного заключения, на которое я осуждена, хочу довериться этой тетради и излить в ней свои страдания.

Вот уже три дня, как меня заперли. Когда кончится это испытание? Я знаю, что заслужила это наказание, но предпочла бы, чтобы меня избili палками вместо этого ужасного возмездия.

Но я подчиняюсь. Подчиняюсь ЭТОЙ странной фантазии, которая есть не что иное, как самая утонченная пытка. Он хочет, чтобы с каждым днем потеря становилась все ужаснее для меня. Это справедливо. Разве я не ответственна за смерть нашего ребенка? Разве мой отъезд не был косвенной причиной его смерти? Когда я его бросила, чтобы уйти со своей преступной любовью, его милый голосок не удержал меня. И какой ценой горя и стыда заплатила я за увлечение одного часа! О, забыть бы это ненавистное прошлое!.. Мое перо не коснется его...

18 и ю н я. Часы проходят медленно. О, эти четыре стены! Через стеклянную крышу мастерской я вижу птиц и облака... Старая служанка меня ненавидит. Она очень предана своему хозяину, — со мной не говорит ни слова. Он же говорит со мной только о ребенке.

8 и ю л я. Вот уж семнадцать дней длится эта чудовищная комедия. Мой муж непреклонен. Вчера я просила, умоляла его положить конец этой мести, моему наказанию. Мои слезы его не тронули. Он жестоко упрекал меня в том, что я — дурная мать. Но не могу же я теперь, не будучи уже матерью, жить так, как если бы я была ею на самом деле! Я хотела протестовать, но в его глазах было такое выражение, что я не посмела».

После этой заметки не было больше обозначения числа.

«Не знаю, как я живу... Силы падают. Дитя спит рядом со мной или, вернее, это час, когда ребенок при жизни ложился спать. Но теперь нужно делать вид, что укладываешь его, укачиваешь, оправляя его кроватку и напевая колыбельную песню, нужно целовать его закрытые глаза. Ах, этот поцелуй, какое ужасное и раздирающе сердце ощущение! Бедная крошка, тебе следует теперь спать вечным сном на кладбище, вдали от матери, которая хоть и покинула тебя, но крепко любила!..

.

Почему я очутилась в одиночном заключении? Почему никого не известила о своем возвращении? Мои родители, друзья не знают, где я. Я хотела раньше всех увидеть моего мужа, выпросить у него прощение. И я сама отдала себя в руки палача. Я живо замуравлена. Как убежать, обмануть их бдительность, как провести старуху?

Боже мой, я боюсь. Я теперь уверена, что имею дело с сумасшедшим. Он думает, что сын его еще жив. Раньше мне

казалось, что вся эта ужасная комедия разыгрывается для меня, но вчера я застала его одного со старухой; он держал на коленях своего сына и говорил с ним своим обыкновенным, натуральным тоном. Старуха, казалось, из жалости делала вид, что верит всему. Его надо бы запереть, как безумного. А я его пленница! Я должна жить в мире безумных галлюцинаций. Кто спасет меня? Я чувствую, что сойду здесь с ума».

Очевидно, после этой заметки следовал продолжительный перерыв. Это видно было по сильно изменившемуся сразу почерку.

«Этому нужно положить конец. Труп ребенка распространяет зловоние. Я подхожу к нему и задыхаюсь, меня тошнит. Он, однако, не разлагается. Без сомнения, отец сумел его набальзамировать... Это ужасно...

Со вчерашнего дня я слышу, как рабочий возится вокруг дома. Если б я могла сноситься с ним как-нибудь! Или бросить ему письмо?.. Ах, пусть меня спасут поскорее, завтра будет уже поздно...»

Следовала подпись и адрес. Фамилия, которую я прочел, поразила меня изумлением. Это было имя известнейшего скульптора, которого многие считали гениальным. Последние его работы сбивали публику с толку. Всем было известно, что его жена, будучи значительно моложе его, бросила его для итальянца-художника. Этот случай вызвал много шума.

Что поражало меня в этом дневнике — это очевидное противоречие между серединой и концом его. Заключенная говорила раньше о ребенке, тело которого покоилось на кладбище, потом она говорила о трупе, рядом с которым ее заставляли жить. Что произошло в этот промежуток? Добыл ли отец ценой золота труп ребенка?

Очевидно было одно: заключение этой женщины требовало от меня выполнения долга. Я должен ответить на призыв. Я взял двух агентов и отправился по указанному

адресу. Дом находился на глухой улице квартала Вожирар. Посреди сада находился маленький павильон.

Старая женщина осторожно открыла нам дверь. Я спросил, здесь ли г-жа П.

— Жена хозяина, — сказала она насмешливо, — давно уехала отсюда.

— Простите, — заметил я, — я думал, она вернулась.

Старуха с недоверием посмотрела на меня.

— Если бы она вернулась, хозяин прогнал бы ее. Это была бессердечная женщина, которая убила своего ребенка.

Старуха хотела закрыть дверь. Я распахнул пальто и, указывая на свой трехцветный шарф, крикнул:

— Именем закона пропустите нас!

При этих словах старуха в ужасе сделала движение, чтобы кинуться в дом и предупредить хозяина. Но два агента бросились на нее и приковали ее к месту. Я вошел в дом, внизу было пусто. Поднялся на первый этаж, в мастерскую. Шум голосов доносился из одной двери в глубине коридора. Я стал слушать.

— Малютка голоден, и ты снова позабыла покормить его грудью!

— Пощади, умоляю тебя, пощади!

— Как, несчастная, ты отказываешься кормить свое дитя?

— Но оно умерло.

— Ребенок жив, презренная! Ты сделаешь то, что я приказываю. Иначе...

— Хорошо, я сделаю, — умоляла женщина. — Я повинуюсь.

Наступило молчание. Я постучал в дверь. Человек лет пятидесяти, высокого роста, с розеткой Почетного легиона в петлице, открыл мне дверь. Я узнал знаменитого художника, портреты которого часто видел. В углу женщина с безумным выражением, бледная и худая, как призрак, сидела у колыбели.

Я назвал себя и указал на причину своего прихода.

— Войдите, сударь, — сказал он. — Я здесь у себя. Эта женщина — моя жена, которую я справедливо наказываю. Это негодная мать. Она бросила ребенка и виновна в его

смерти. Она искупает свою вину тем, что я заставляю ее посвятить ему весь остаток жизни.

— Ребенок! Но вы сказали, что он умер?

— Он умер, да. Но я его воскресил, потому что я — великий художник.

Он подвел меня к колыбели и раздвинул занавески. Ребенок двух лет, казалось, спал.

— Я сохранил его волосы, — продолжал он в увлечении, — сохранил его зубы, его ногти, все, что не разлагается, что даже после смерти сохраняет частицу жизни. И я все это вставил в воск, который вылепил с полным сходством с умершим ребенком. Теперь он живет; конечно, это существование похоже на летаргию, на сон, но он живет и слышит нас. Когда-нибудь он, может быть, проснется.

Женщина поднялась с места и, взяв меня за руку, сказала:

— Не слушайте его, господин комиссар. Вы хорошо знаете, что мертвые не воскресают. Их нужно хоронить, чтобы они не разлагались и не отравляли воздуха, которым мы дышим. Освободите меня от этого разлагающегося трупа.

— Вы слышите? — рычал ее муж. — Она хочет похоронить его живым. Эта негодяйка!

Я взял в руки маленькое, прекрасно выточенное тело и разбил его об пол. Она отчаянно вскрикнула и закрыла лицо руками.

Человек рычал от боли, двинулся на меня, угрожая своим тяжелым молотком скульптора.

— Убийца! — кричал он. — Ты убил моего сына и ты умрешь...

С помощью агента, прибежавшего на крик, я усмирил его.

Он теперь заперт в доме умалишенных св. Анны, где качает на руках и ласкает воображаемого ребенка. Жена его находится на излечении в доме умалишенных в Сальпетриере.

Андре де Лорд

ДАМА В ЧЕРНОМ

Когда Елена Вельсон приехала в Ловаль и поселилась там в Небольшой, уединенной вилле, — ее приезд взволновал тихую жизнь этого маленького провинциального городка. Она носила глубокий траур — и ее прозвали «дама в черном». И это прозвище подходило той таинственности, которой она себя окружала.

Елена была прелестная, нежная блондинка; тяжелое горе преждевременно состарило ее.

Она не искала знакомств, и ее уединенная, тихая жизнь не давала повода к сплетням, столь обычным в маленьких городишках. Долго досужие кумушки делали всевозможные предположения о ней, но, наконец, всем надоело ломать себе голову над тайной «дамы в черном», и ее оставили в покое. И все таки она дала повод заговорить о себе, когда профессор Пьер Картье стал часто навещать ее. Он встретил ее на прогулке. Его поразили подернутые грустью глаза, печальная, нежная улыбка таинственной незнакомки. Оказав ей однажды какую-то незначительную, случайную услугу, он начал кланяться ей при встречах. Однажды они обменялись ничего не значащими словами. И скоро взаимная симпатия перешла в крепкую дружбу. По крайней мере, они сами называли так то чувство, которое захватило их.

Однажды вечером Пьер Картье решился заговорить с ней о своей любви и просить ее руки; Елена испуганно просила его никогда и не заговаривать об этом.

Но он не мог молчать и настойчиво добивался причин ее упорного отказа; он был уверен в ее любви, и ее сопротивление объяснял себе лишь ее несчастной жизнью в первом замужестве.

Картье не терял мужества, он удвоил свою настойчивость. Он чувствовал, как с каждым днем слабеет сопротивление молодой женщины, и он был несказанно счастлив, когда получил, наконец, ее согласие.

Медовый месяц они проводили в Париже. Быстро мчались счастливые, безмятежные дни. Желая вознаградить себя за тихую жизнь и отсутствие развлечений в Ловале, они ежедневно бывали в театрах, в концертах.

Однажды вечером они пошли вместе в театр. Елена сидела в партере, а ее муж, прислонившись к барьеру, растерянно оглядывал театральный зал. Вдруг имя его жены, произнесенное каким-то господином в соседней ложе, привлекло его внимание. Он стал прислушиваться к разговору в ложе.

— Кажется, это она.

— Кто?

— Знаменитая Вельсон? Покажите мне ее!

Один из собеседников указал на Елену Картье.

— Это та красивая блондинка в третьем ряду?

— Я уверен, что не ошибаюсь. Правда, прошло уже 10 лет со дня процесса, но я ее хорошо помню.

— Чем кончился процесс? Оправдали ее, обвинили?

— Не было достаточных улик против нее.

— А что ты сам про нее думаешь?!

— Я считаю ее гениальной артисткой, комедианткой, которая провела судьей.

В это мгновение прозвучал звонок, антракт окончился и разговор оборвался. Пьер Картье был оттеснен в сторону спешившей занять места публикой, и сам смертельно бледный, близкий к потере сознания от острой душевной боли, занял свое место.

Для него не оставалось сомнений, что его жена была печалькой героиней какой-то таинственной, ужасной драмы, которую она старательно от него скрывала.

После театра, когда они остались одни в комнате гостиницы, он не мог более сдерживать себя и жестоко потребовал у Елены объяснения того, что ему случайно пришлось услышать в театре.

— Это правда, — прошептала она, бледнея, — я скрыла от тебя одно важное событие моего прошлого. Зачем я не отказала тебе, зачем согласилась быть твоей женой? Но я слишком любила тебя, чтобы отказаться от тебя. Выйдя за тебя замуж, я потеряла право молчать, но не нашла в себе достаточно смелости, чтобы говорить.

И, вся дрожа, она рассказала ему о том, что ее судили за то, что она якобы убила своего первого мужа. Дело про-

исходило так.

Однажды утром он был найден мертвым в своей постели. Следствие выяснило, что он был несчастен со своей женой, и это бросило на нее подозрение.

Вскрытие обнаружило присутствие мышьяка во внутренних органах покойного. Мышьяк был ему прописан доктором; случайно ли он принял слишком большую дозу или намеренно покончил с собой — эту загадку он унес с собой в могилу. Елену привлекли к суду, и прокурор утверждал, что Вельсон был задушен в своей постели. Но улики не было, и Елену оправдали.

— Я покинула родные места, — продолжала Елена свой печальный рассказ. — Я долго путешествовала, хотела изгнать из памяти своей тяжелые воспоминания. Я встретила тебя на своем пути, полюбила тебя с первого взгляда; я надеялась в твоей любви возродиться к новой жизни; но теперь я вижу, что ошиблась. Я невинна, но судьба дала мне тяжелый крест, и я не вправе взвалить его тебе на плечи.

Картье был глубоко растроган исповедью жены. Своими ласками старался он согреть ее, успокоить, разогнать ее мрачные мысли. Он клялся, что любовь его заставит ее забыть незаслуженные тяжелые удары судьбы.

И действительно, особенно горячи были его ласки в этот вечер...

По возвращении в Ловаль, Картье возобновил свои занятия в университете. Елена занялась хозяйственными обязанностями, — жизнь, казалось, вошла в обычную колею. Но это только казалось. Правда, Картье не вспоминал про их общую тайну, но в его глазах читала Елена молчаливый вопрос, который он не осмеливался задать ей вслух, но который беспокоил ее. Она боялась, что муж ее подавлен пережитой ею драмой.

В действительности же, Картье не мог совладать со своим жгучим любопытством относительно прошлого Елены. Тайком от нее, он достал все газеты, говорившие о процессе Вельсона. Он испытывал глубокую боль, наталкиваясь в газетных листах на портреты жены с нескромными замечаниями на те догадки, которыми прокурор хотел выяснить

преступление. Утверждали, что у Елены был соучастник, любовник! Что должен был испытывать Картье, читая все это!

Все эти догадки не нашли себе ни в чем дальнейшем подтверждения, но Картье чувствовал, как в нем самом зарождается и растет невольное подозрение. Читая, как досужные газетчики обливали грязью Елену, он и сам терял к ней уважение. Но он хоронил в тайниках души все переживаемое им и старался с Еленой быть нежным и ласковым. Но трудно обмануть любящую женщину.

Она чувствовала всю неестественность, всю ложь его ласк и решила поговорить с ним.

— Я знаю, что в тебе происходит, — говорила она ему. — Ты сомневаешься во мне. Ты не веришь, что я все рассказала тебе. Ты говоришь себе: «Она скрывала от меня самое важное в своей жизни; почему я знаю, что и теперь у нее не осталось тайн от меня?..» Послушай, — нельзя жить всю жизнь с таким страшным подозрением — расстанемся...

Он спорил с ней, уверяя ее в своей любви — но в конце концов слова ее запали ему в душу.

Страшные сомнения обуревали его. А что, если Елена действительно убила мужа?

Он еще раз перечитал газеты и сам начинал верить в возможность ее вины.

Он ставил ей ловушки, старался сбить ее своими вопросами, расспрашивал ее о таких подробностях, что ей оставалось только удивляться, откуда они могут быть ему известны. Он с оскорбительным недоверием относился к ее словам, к ее клятвам, и упорно твердил одно и то же: «Ты умеешь молчать. И про процесс Вельсона ты сумела промолчать».

Наконец, и ее любовь не выдержала такого тяжкого испытания, и в ней стала пробуждаться враждебность к Картье. Она открыто высказывала сожаление, что вышла за него замуж, и вдруг в нем зародилась новая ужасная мысль: «Она убила уже одного своего мужа, она убьет и меня!» Это была вечная мука! В те минуты, когда он способен был хладнокровно рассуждать, он сам понимал всю бессмыс-

ленность своих подозрений; он вспоминал счастливые дни, ценил ее кроткую красивую душу и гнал прочь кошмарные мысли. Но приходила ночь, и снова безумие овладевало им, сон бежал от него, ужасные призраки убийств создавал его больной мозг, и ему мерещилось, как Елена наклоняется к спящему Вельсону, душит его, тот обороняется, хрипит, наконец, судорожно вздрагивает и замирает неподвижно.

Утром он сам стыдился своих ночных кошмаров, — но каждую ночь они возвращались к нему, становились все мучительнее.

Он перекочевал в кабинет, закрылся на ключ, клал револьвер под подушку. Но его бредовые идеи приняли уже другую форму.—он боялся уже быть отравленным!

Однажды он заметил, как Елена сыпет какой-то белый порошок на тарелку. Он заставил ее саму съесть все, — и то, что он считал ядом, — было солью!

Подобные припадки стали повторяться каждый день. Силы его иссякали, его нервность достигла крайних пределов; сил человеческих не хватало переносить эту муку вечных подозрений. Наконец, Картье свалился с ног и слег. Но он не допустил жену ухаживать за собой.

Старая служанка, ходившая за ним еще в детстве, служила ему.

Однажды ночью он проснулся, измученный лихорадочными сновидениями. Служанка мирно спала в кресле возле его кровати.

Чу! Чьи-то шаги в коридоре! Неслышно отворяется дверь, белая фигура появляется в комнате. Он узнал свою жену.

В правой руке она держала какой-то предмет. Он не мог различить, что это, и его охватил неопишуемый ужас!

Он инстинктивно почувствовал, что ему грозит страшная опасность. С бесконечной осторожностью, судорожно схватившись за револьвер, он притворился спящим и ждал приближения призрака.

Елена тихо, почти бесшумно подкрадывалась к его кровати. У изголовья она остановилась в нерешительности и, убедившись, что он спит, она протянула руку к подушке.

Картье заметил ее движение, откинулся назад, выхватил револьвер из-под подушки... Один за другим грянули два выстрела.

Бездыханной пала Елена на пол; кровь хлынула ручьем у нее изо рта.

Он вскочил с постели в ужасе от того, что сделал. Испуганная служанка светила ему.

В правой руке Елены был пакет с письмами... Это были письма утра их любви, письма нежной чистой привязанности. Бедная, наивная Елена! Она хотела положить их под подушку.. Это была ее последняя попытка заставить прозвучать в его душе давно умолкнувшие струны любви и доверия.

Огюст Вилье де Лиль-Адан

СТРАШНЫЙ СОТРАПЕЗНИК

В один из вечеров карнавала 1864-го года я случайно встретился с моим приятелем С. в аванложе парижской Большой Оперы во время маскарада.

Мы были в ложе одни.

Мы любовались несколько времени на великолепную картину пестрой мозаики масок, окруженных облаком тонкой пыли и залитых ослепительным светом люстр. Под волшебную мелодию штрауссовского вальса, она колебалась шумно и волнообразно.

Вдруг дверь ложи распахнулась. Вошли три дамы в шестящих шелковых юбках; они скинули маски и дружески поздоровались с нами:

— Добрый вечер!

Это были три остроумные молодые женщины ослепительной красоты: белокурая Клио, Антони Шантильи и Анна Джексон.

Мой друг С. пододвинул им стулья.

— О, мы намерены были поужинать одни нынче ночью! Все сегодня так убийственно глупы и скучны, что можно захворать от этого, — сказала белокурая Клио.

— Да, мы уже собирались уйти, когда высмотрели вас тут наверху, — добавила Антони Шантильи.

— Если вам не предстоит ничего лучшего, пойдите вместе с нами, — завершила переговоры Анна Джексон.

— Что вы скажете относительно «Мезон Доре?» Имеете ли вы что-нибудь против этого ресторана?

— Ровно ничего, — ответила очаровательная Анна Джексон и раскрыла свой веер.

— В таком случае, милый друг, — сказал С., обращаясь ко мне, — вынь твою записную книжку и напиши на листке, чтобы для нас приготовили красный салон. Мы сейчас же отправим записку с лакеем мисс Джексон. Я полагаю, что это будет всего проще, не правда ли?

— Если вы будете столь любезны пожертвовать собой для нас, — сказала мне мисс Джексон, — вы найдете моего малого в коридорах; он в маске птицы феникс или в костюме мухи. Он откликнется на имя «Баптист» или «Лапьер». Разыщите его, пожалуйста, но возвращайтесь, пожалуйста,

поскорее, чтобы мы не умерли со скуки.

Внимание мое в это мгновение привлек к себе незнакомец, только что вошедший в противоположную аванложу. Это был человек лет тридцати пяти или тридцати шести, необычайно бледный. Он, держа в руке бинокль, вежливо поклонился мне.

— Ах, это незнакомец из Висбадена, — тихо произнес я, немного подумав.

Я ответил ему на поклон, так как этот господин оказал мне в Германии одну из тех услуг, которыми обыкновенно обмениваются вежливые путешественники (он указал мне в приемном зале на один весьма хороший сорт сигар).

Когда я вскоре после этого вышел в фойе, ища глазами означенного Феникса, иностранец подошел ко мне. Так как он проявил при этом особенную любезность, мне показалось, что обычная вежливость требует, чтобы я пригласил его присоединиться ко мне, если он один в этой сутолоке.

— И кого же я буду иметь честь представить нашим прекрасным дамам? — улыбаясь, спросил я, когда он принял мое предложение.

— Барон фон Х., — ответил он. — В виду, однако, свободного общественного положения дам, трудности произносить мою фамилию и, наконец, карнавального времени, не разрешите ли вы мне на какой-нибудь час принять другое имя? любое, которое придет на ум, — добавил он, — ну, хоть барон Сатурн, если вам угодно!

Странное желание иностранца несколько удивило меня, но, не видя в этом ничего предосудительного, я представил его нашим красавицам под избранным им для себя мифологическим именем.

Его выдумка оказалась удачной. Дамы были расположены принять его за путешествующего инкогнито принца из «Тысячи и одной ночи». Белокурая Клио зашла даже так далеко, что шепнула нам имя одного знаменитого преступника, которого всюду разыскивали и который, посредством многих убийств, приобрел огромное богатство.

После представления и обмена прочими любезностями, Анна Джексон предложила с неотразимой улыбкой:

— Не пожелает ли господин барон, для пополнения надлежащего числа собеседников, поужинать вместе с нами?

Барон хотел отказаться.

— Сусанна говорила с вами почти тем же тоном, которым приглашал Дон-Жуан статую командора! Эти шотландки изъясняются всегда так выпендренно, — шутя, заметил я.

— Следовало просто предложить господину Сатурну убить вместе с нами свободное время, — сказал С., желавший холодно и в корректной форме пригласить барона.

— Мне весьма прискорбно, — ответил иностранец, что я не могу принять предложения. Завтра, весьма рано, почти на рассвете, у меня имеется дело первостепенной важности.

Белокурая Клио недовольно поморщилась и спросила:

— Конечно, речь идет о какой-нибудь вздорной дуэли?

— Нет, сударыня, мне предстоит встретиться кое с кем при более чем серьезных условиях.

— О, я готова побиться об заклад, — воскликнула красивая Анна Джексон, — что ссора вышла из-за нескольких ничтожных слов, брошенных мимоходом. Ваш портной, в гордом костюме рыцаря, обошелся с вами, как с художником или демагогом! Любезный барон, такие столкновения не заслуживают, чтобы из-за них обнажать рапиры. Видно по всему, что вы здесь чужой.

— Да, я чужой, но не только здесь, а везде, сударыня, — произнес барон Сатурн, низко кланяясь.

— В таком случае, поедemте же! Вы заставляете упрямиться себя!

— Очень редко, уверяю вас, — сказал самым вежливым, но, вместе с тем, и двусмысленным тоном этот странный человек.

С. и я обменялись украдкой недоумевающими взорами. Что хотел сказать этим барон? Неужели мы не понимаем его?! Вместе с тем, он показался в своем роде весьма забавным.

Антони воскликнула с жаром, — как дитя, которое тем сильнее добивается чего-либо, если ей в этом отказывают:

— Во всяком случае, до зари вы наш! Прошу вас дать мне руку.

Барон сдался и мы вышли из зала.

Понадобилось, таким образом, стечение целого ряда случайностей, чтобы составила наша компания. Я оказался в сравнительно приятельских отношениях с человеком, о котором почти ничего не знал, — кроме того, что он играл в висбаденском казино и, по-видимому, основательно изучил разные сорта гаванских сигар.

«Пустое, — успокоил я себя, — разве в наше время разбирают, кому пожимают руку?».

Выйдя на бульвар, Клио, смеясь, вскочила в свой экипаж и крикнула мулату, ожидавшему в позе раба ее приказаний:

— В «Мезон-Доре»!

Затем она обратилась ко мне и сказала:

— Я совсем не знаю вашего друга; что он за человек? Он приводит меня в смущение, у него такие странные глаза.

— Мой друг? — ответил я. — Но сам я едва знаком с ним; мы виделись в прошлом году в Германии ровно два раза.

Она с изумлением посмотрела на меня.

— Ну, что ж такое? — пояснил я. — Он пришел в нашу ложу с визитом и, едва я успел представить его, как вы сейчас же вздумали пригласить его ужинать вместе с нами. И хотя бы это оказалось оплошностью, за которую вас следовало бы казнить, теперь уже слишком поздно беспокоиться относительно приглашенного гостя. Если завтра у нас пропадет охота продолжать знакомство, мы столь же вежливо раскланяемся с ним; вот и все. То, что мы один раз поужинаем сообща, ни к чему не обяжет нас.

Ничто не может быть забавнее, как притворяться, точно совершенно понимаешь искусственную щепетильность и мнимую требовательность некоторых дам.

— Как? Это все, что вам известно относительно этого господина? А если он окажется...

— Разве я вам не назвал его имени? Барон Сатурн! Уж же боитесь ли вы скомпрометировать его? — сказал я с резным тоном.

— Вы несносный человек!

— Что может быть проще нашего приключения? Он забавный миллионер, — разве это не ваш идеал?

— Я нахожу, что этот господин Сатурн очень приличен, — заметил С.

— И во время карнавала очень богатый человек имеет право рассчитывать на некоторое внимание, — спокойно и примирительным тоном завершила беседу красивая Сусанна.

Лошади тронулись. Экипаж иностранца следовал за нами. Очаровательная Антони Шантильи (известная под вымышленным именем «Изольды») разделила его общество.

Удобно расположившись в красном салоне, мы настрого приказали Жозефу не впускать никакое живое существо, за исключением остендских устриц, себя самого и нашего знаменитого друга, фантастического маленького доктора Флориана Лезельизотта, если он случайно вздумает прийти полакомиться раками.

В камине ярко пылали дрова; приторный аромат сброшенных шуб и зимних цветов окружал нас. Свет канделябров на высоких тумбах отражался в серебряных холодильниках для вина. Из хрустальных ваз, украшавших стол, вздымались густыми букетами скрепленные проволокой камелии.

Снаружи, не переставая, шел мелкий, смешанный со снегом холодный дождь. До нас доносились шум разъезжающих по окончании бала экипажей, возгласы масок.

Чтобы заглушить шум, были заперты окна и тщательно спущены тяжелые драпировки.

Собравшееся за нашим столом общество состояло, таким образом, из саксонского барона фон Х., моего друга С. и меня, и затем из трех дам: Анны Джексон, красивой блондинки и Антони.

Во время ужина, оживленного весельем и непринужденным остроумием, я, по своей застарелой привычке, не переставал наблюдать за окружающими. И я должен признать, что на этот раз сидящий напротив собеседник заслуживал моего внимания.

Случайный участник нашей трапезы положительно не был веселым человеком.

Его черты и манеры не были лишены известной сдержанной привлекательности, отмеченной сознанием собственного достоинства; и его французский выговор не отличался нудностью, свойственной столь многим иностранцам. Но бледное лицо его принимало время от времени землистый, почти мертвенный оттенок. Его губы были тонки, точно проведены одним мазком кисти. Брови барона оставались тесно сдвинутыми, даже когда он смеялся.

Подметив с присущею многим писателям как бы бессознательной наблюдательностью эти и еще некоторые особенности барона Х., я стал почти сожалеть, что столь легкомысленно ввел его в наше общество. Я решил со следующего же утра вычеркнуть его из списка наших знакомых. Я говорю здесь, само собой разумеется, только о С. и себе, так как мы были обязаны присутствием наших дам лишь счастливым случайности. Они исчезнут, как призраки, вместе с этою ночью.

Иностранец точно старался привлекать наше внимание как нельзя более своеобразными странностями. Его слова, в которых не было ничего необыкновенного или достопримечательного по оригинальности мыслей, казались интересными, так как всегда казалось, что в них скрыт какой-то другой, тайный смысл, подчеркиваемый особенными интонациями голоса.

Это было тем удивительнее, что, тщательно вдумываясь в речи барона, невольно приходилось признать в нем самого обыкновенного собеседника, ведущего разговор в легком, светском тоне. Тем не менее, С. и я испытывали чрезвычайно неприятное чувство, когда он оттенял голосом некоторые суждения, и никак не могли отделаться от подозрения, что за его словами таится совершенно иной смысл.

Белокурая Клио только что привела нас в восторг одной из тех очаровательных шуток, которым она умела придать такую неподражаемую забавность. Мы все разразились громким, дружным хохотом; в это мгновение мне вдруг смутно вспомнилось, что я уже видел этого человека задолго до

встречи с ним в Висбадене, и при совершенно иных условиях.

И действительно, это лицо имело черты, врезывавшиеся в память. Когда он медленно поднимал свои веки, казалось, что его глаза озарены каким-то внутренним блеском.

Где, при каких обстоятельствах, видел я его раньше? Я тщетно старался восстановить это в своем воображении. Но стоило ли вообще ломать себе голову, вызывая почти изгладившиеся воспоминания?

Они казались такими смутными, далекими, — точно давно забытое сновидение.

А все-таки! Где же это могло быть? Откуда нахлынули на меня туманные воспоминания о каком-то ужасном событии, о безумной, замершей толпе, о факелах... крови... Почему, при виде этого человека, я сначала медленно и сбивчиво стал представлять себе эти образы, постепенно вырисовывавшиеся с почти невыносимой отчетливостью?

— У меня пестрит в глазах, — тихо произнес я и залпом выпил бокал шампанского.

Наша нервная система подчинена таинственным законам; когда она бывает потрясена чем-нибудь необычным, она подвергается столь глубоким изменениям, что мы забываем о действительной их первопричине. Память почти точно оживляет вызванные этой первопричиной восприятия, но непосредственные впечатления настолько сливаются с общим впечатлением, что едва возможно различить их.

Нечто подобное происходит, когда образы давно забытых, некогда близких людей неожиданно промелькнут перед нами и воскресят столь же давно забытые переживания.

Изысканные манеры, оживленная разговорчивость, своеобразная самоуверенность иностранца, скрывавшие его сумрачную натуру, заставили меня, однако, на время отнестись к этому смутному воспоминанию, как к игре воображения, вызванной безумной ночью и винными парами.

Я заставил себя, соответственно требованию общественного приличия, ничем не проявить своего смущения и придал лицу веселое выражение.

Мы встали из-за стола. Взрывы жизнерадостного смеха сливались с увлекательными мелодиями, которые извлекали из роаяля виртуозные руки.

Я твердо владел собой. Что было дальше? Остроумные шутки, болтовня, недоговоренные признания, мимолетные поцелуи, напоминавшие звук, который извлекают молодые девушки, хлопая по листку на ладони... Фейерверк улыбок, сверкание бриллиантов. Большие зеркала отражали эту обаятельную картину, повторяя ее в своих взаимных отражениях до бесконечности.

.

Часть ночи уже прошла. Подали кофе в прозрачных дорогих чашках. С. с наслаждением курил гаванскую сигару; в клубах легкого дыма он напоминал полубога, окруженного облаком.

Барон фон Х. лежал с полузакрытыми глазами и равнодушным выражением лица на кушетке. Его бледная рука держала бокал с шампанским; он, по-видимому, прислушивался к чарующим звукам ноктюрна из «Тристана и Изольды», который с большим вкусом и чувством исполняла Сусанна. Антони и белокурая Клио сидели молча, тесно прильнув друг к другу; лица их сияли: они погрузились в слушание игры превосходной артистки.

Я сам был глубоко потрясен ее исполнением и сел возле инструмента, чтобы не упустить ни звука.

Все наши красавицы в этот вечер надели бархатные платья.

Поразительно красивая Антони с фиалковыми глазами была вся в черном. Никакое кружево не украшало выреза ее платья, плотно прилегавшего своей темной тканью к чудной шее и ослепительным плечам, сверкавшим, как белый каррарский мрамор.

Она носила узкое золотое кольцо на маленьком пальце; три сапфировых василька блестели в ее темно-каштаново-

вых волосах, спускавшихся двумя пышными косами много ниже талии.

Что касается ее нравственности, то одна высокопоставленная особа спросила ее, — прилична ли она?

— Несомненно, — ответила Антони, — ведь во Франции слово «приличная» является лишь синонимом «вежливой».

Белокурая Клио была удивительно красивой блондинкой с черными глазами, — «богиней бесстыдства», как называл ее по-русски молодой прожигатель жизни, князь С., обливший ей волосы вспененным шампанским. На ней было надето сидевшее, как вылитое, зеленое бархатное платье; ожерелье из рубинов сверкало на ее груди. Эту молодую, едва достигшую двадцатилетнего возраста креолку называли воплощением всех пороков. Она сумела бы разжечь самого мрачного философа Эллады, самого глубокого метафизика Германии. Целый ряд молодых виверов* самым безумным образом соперничал из-за нее между собой; многие из ее поклонников совершенно разорились.

Она только что вернулась из Бадена, где, смеясь, как дитя, в один вечер проиграла за зеленым столом пять тысяч луидоров.

Одна старая немецкая дама, потрясенная этим зрелищем, сказала ей в казино:

— Будьте осторожны! Иногда приходится съесть кусок хлеба, а вы, кажется, забываете об этом.

— Сударыня, — ответила, покраснев, красавица Клио, — я очень благодарна вам за совет; позвольте вам, в свою очередь, заметить, что бывают люди, для которых хлеб представляется лишь разоблаченным предрассудком!

Анна или, вернее, Сусанна Джексон, шотландская Цирцея, волосы которой были черны, как ночь, а взор пронизывал душу, как ее колкие, злые шуточки, блистала в красном бархате.

Она была самой опасной для неопытного сердца. Про нее говорили, что она, подобно зыбучему песку, захватывает всю нервную систему. Она зажигала неутолимое жела-

* От *фр. vivreur* — жуир, гуляка.

ние. Увлечшийся ею несчастный подвергался продолжительному, болезненному, распатывающему нервы, безумному перелому. Она обладала той красотой, которая сводит с ума простых смертных!

Тело ее напоминало темную, но девственную лилию. Оно оправдывало ее имя, означающее на древнееврейском языке «лилию»*. Каким бы опытным ни считал себя молодой расточитель, если несчастная звезда приводила Анну Джексон на его жизненный путь, он чувствовал себя мальчиком, питавшимся раньше молоком и яйцами — и вдруг отведавшим самых острых пряностей, самых опьяняющих, горячительных напитков, наиболее раздражающих нервы возбуждающих средств...

Хитрая волшебница забавлялась иногда, исторгая слезы отчаяния у старых, пресыщенных лордов, так как она отдавалась лишь тому, кто ей понравится. Идеалом ее было — уединиться в одном из богатых коттеджей на берегах Клайды с красивым молодым миллионером, которого она могла бы, по своей прихоти, медленно развращать, обрекая на гибель.

Скульптор С. Б., подразнивая ее однажды черным родимым пятнышком под одним из глаз, сказал:

— Неизвестный мастер, изваявший эту прекрасную статую, недосмотрел этого небольшого камня.

— Не пренебрегайте им, — ответила она, — это камень преткновения.

Она была похожа на черную тигровую кошку.

Зеленая, красная и черная бархатные полумаски, которые сняли с себя эти дамы, были прикреплены к их поясам двойными, узкими стальными цепочками.

Я сам, если вообще нужно говорить о себе, также носил маску, конечно, не столь заметную.

Так, занимая в театре среднюю ложу, мы зачастую спокойно продолжаем слушать не нравящуюся нам, написанную в скучном стиле пьесу — исключительно из вежливо-

* На самом деле *ивр. shoshana* — роза.

сти, чтобы не помешать соседям; и я, также из любезности, продолжал оставаться в этом обществе.

Это не помешало мне, как истинному рыцарю ордена весны, продеть цветок в свою петлицу.

Сусанна встала из-за рояля. Я взял один из букетов, украшавших стол, и подал ей цветы с насмешливым видом.

— Вы — первоклассная артистка. Украсьте себя одним из этих цветов в честь вашего, неведомого нам любовника.

Она выбрала одну ветвь гортензии и с любезной улыбкой прикрепила к своему корсажу.

— О, холодная Сусанна, — смеясь, воскликнул С., — я думаю, что вы явились на свет только для того, чтобы доказать, что и снег может обжигать!

Это был один из тех чрезмерно изысканных комплиментов, которыми обыкновенно обмениваются после ужина; смысл их, — если только в них есть смысл, — бывает так загадочно-тонок, что они могут показаться похожими на глупость. Я усмотрел из этих слов, что мысли начинают затуманиваться и что необходимо принять меры против этого.

Иногда бывает достаточно одной искры, чтобы вспыхнул огонь. Эту умственную искру я решил извлечь из нашего молчаливого собеседника.

В это мгновение вошел Жозеф и принес замороженный пунш: мы добивались в эту ночь основательного опьянения!

Я уже несколько минут наблюдал за бароном Сатурном. Мне казалось, что он встревожен, проявляет какое-то нетерпение. Я увидел, что он вынул часы и, взглянув на них, поднес Антони бриллиантовое кольцо; затем он поднялся с кушетки.

Сидя верхом на стуле и покуривая сигару, я воскликнул, обращаясь к нему:

— Гость из неведомых стран, — неужели вы, в самом деле, намерены уже покинуть нас? Похоже на то, точно вы хотите казаться интересным! Ведь, вы знаете, это не считается особенно остроумным!

— Бесконечно сожалею, — ответил он, — но дело касается выполнения обязанности, не терпящей ни малейшего

отлагательства. Примите мою сердечную признательность за приятные часы, проведенные мною в вашем обществе.

— Значит, это все-таки дуэль? — спросила по-видимому встревоженная Антони.

— Я убежден, что вы преувеличиваете серьезность этого случая! — воскликнул я, думая, что речь идет, в самом деле, о ссоре в маскарade. — Ваш противник теперь, быть может, уже так пьян, что ничего не помнит обо всем деле. Раньше, чем изобразить вариант знаменитой картины Жерома, — причем, само собою разумеется, вы возьмете на себя роль победителя, — пошлите-ка сначала вашего слугу на избранное для поединка место, чтобы узнать, ожидают ли вас вообще. В утвердительном случае, ваши лошади успеют наверстать потерянное время.

— Совершенно верно, — поддержал меня С., — поухаживайте лучше за Сусанной, которая в восторге от вас. Таким образом, вы сэкономите себе насморк и используете великодушный случай промотать один или два миллиона. Обдумайте хорошенько: послушайте моего совета и оставайтесь!

— Уверю вас, господа, что я бываю слеп и глух так часто, как позволяет Господь.

Он произнес эти совершенно непонятные для всех нас, лишенные смысла слова со столь странной интонацией, что мы все онемели. Мы переглянулись с растерянной усмешкой, не понимая, что, собственно, означает эта шутка, как вдруг я невольно вскрикнул от изумления. Я мгновенно вспомнил совершенно отчетливо, где и когда встретился впервые с этим человеком. И мне почудилось, что от нашего гостя исходит призрачный, похожий на известный театральный эффект красный свет, озаряющий бенгальским огнем все окружающее, — хрусталь и серебро, драпировки, лица участников и участниц нашего ночного пиршества...

Я потер рукой свой лоб. Пользуясь мгновением общего безмолвия, я приблизился к иностранцу и шепнул ему:

— Простите, милостивый государь, если я ошибаюсь, — но мне кажется, что я имел уже удовольствие встретиться с вами пять или шесть лет тому назад... Это было в Лионе, не

так ли? Около четырех часов утра, на большой площади...

Сатурн медленно поднял голову, посмотрел на меня испытующим пристальным взглядом и ответил:

— Это могло быть...

— Постоите! — продолжал я. — На этой площади возвышался роковой помост; должно было состояться печальное зрелище, для присутствования при котором меня привели двое студентов. И я никогда больше не согласился бы смотреть на что-либо подобное!

— В самом деле! И позволительно вас спросить, что же именно стояло на площади?

— Если память не изменяет мне, милостивый государь, это был эшафот. Да, это была гильотина, теперь я припоминаю совершенно отчетливо.

Я обменялся этими словами с бароном Сатурном тихо, совсем тихо. С. и дамы болтали в полумраке, около рояля.

— Да, это было именно так! Я совершенно уверен в этом! Что же вы скажете на это, милостивый государь? Не правда ли, это называется, — иметь хорошую память? Так как, несмотря на то, что вы лишь промелькнули передо мной, я вполне отчетливо рассмотрел ваше лицо, освещенное багровым пламенем факелов: мой экипаж на мгновение задержал вас. В высшей степени необычайные обстоятельства неизгладимо запечатлели ваш образ в моей памяти. Ваше лицо имело тогда совершенно такое же выражение, какое замечаю я теперь в ваших чертах.

— Ах, — воскликнул барон Сатурн, — это правда, у вас, действительно, поразительно отчетливая память.

Резкий смех его производил на меня почти такое впечатление, как если бы мои волосы стали обстригать холодными ножницами.

— Я обратил внимание, ясно увидел издалека, что вы вышли из экипажа у того места, где был возведен эшафот... И, если меня не вводит в заблуждение слишком удивительное сходство...

— Вы не ошибаетесь, сударь. Это был я, — ответил барон.

Я был озадачен и чувствовал, что холодная дрожь пробежала у меня по спине. Я, несомненно, не проявил в это

мгновение той вежливости, на которую вправе был рассчитывать с нашей стороны столь знатный палач. Тщетно подыскивал я несколько безразличных фраз, чтобы прекратить водворившееся тяжелое молчание.

Прекрасная Антони вдруг отвернулась от рояля и сказала равнодушным тоном:

— Знаете ли, господа, что сегодня утром должна состояться казнь?

— Ах! — воскликнул я, потрясенный этими словами.

— Казнят бедного доктора де ла Поммере, — грустно добавила Антони. — Я однажды советовалась с ним. Я осуждаю его только за то, что он унизился до защиты себя перед тупыми судьями. Я думала, что он слишком умен, чтобы снизойти до этого. Когда знаешь наперед, что обвинительный приговор предрешен, следует, как я думаю, хохотать в лицо этим приказным. Доктор де ла Поммере растерялся.

— Как! вы уверены, что казнь назначена именно на сегодня? — спросил я, стараясь не выдать голосом своего волнения.

— Да, роковой момент наступит ровно в шесть часов. Оссиан, превосходный адвокат, любимец аристократического предместья Сен-Жермен, заезжал вчера ко мне, чтобы сообщить об этом. Это его манера ухаживать за мной. Я совсем позабыла об этом. Он добавил, кроме того, что, ввиду важности процесса и высокого звания осужденного, парижскому палачу выписан из-за границы помощник.

Не обратив внимания на нелепость этих слов, я повернулся в сторону барона Сатурна. Он стоял возле дверей, задрапировавшись в длинный черный плащ, со шляпой в руке. Мне показалось, что он принял какую-то напыщенную позу.

Не были ли еще омрачены пуншем мой мысли? Я чувствовал, что во мне клокочет гневный задор. Я опасался, что бессознательно совершил глупость, пригласив гостем этого человека. Присутствие его показалось мне вдруг столь невыносимым, что я едва удержался, чтобы не дать ему почувствовать это...

— Господин барон, — сказал я ему, — вы только что говорили с нами столь необычайно двусмысленным образом, что мы почти вправе спросить вас: что вы хотели сказать, заявив, что бываете слепым и глухим так часто, как позволяет вам Господь?

Он приблизился ко мне, наклонился с дружественным видом и шепнул:

— Замолчите же! Здесь дамы.

Барон вежливо и низко поклонился всем и вышел из комнаты.

Безмолвный и дрожащий, я остолбенел, не смея верить своим ушам...

Читатель, позволь мне добавить здесь несколько слов!

Известно, что Стендаль, когда хотел приступить к написанию одного из своих несколько сентиментальных любовных рассказов, имел обыкновение прочитывать сначала пять-шесть страниц из уложения о наказаниях. Что касается меня, то я, после зрелого обсуждения, нашел практичным, собираясь писать некоторые истории, просто заходить под вечер в кафе пассажа де Шуазейль, где покойный Х., бывший парижский палач, имел привычку каждый вечер инкогнито развлекаться карточной игрой.

Я находил, что он столь же образованный и благовоспитанный человек, как и все остальные. Он говорил тихим, весьма отчетливым голосом и обращался к каждому с приветливой улыбкой. Я садился за соседний столик и забавлялся тем, как он, увлекаясь игрой, произносил: «Я режу», не думая ни о чем худом в эту минуту. Я отлично припоминаю, что это лучше всего предрасполагало меня к работе, внушая самые удачные и остроумные мысли. Поэтому я далеко не разделял ужаса, по-видимому, внушаемого исполнителями смертных приговоров остальным людям... Тем, в сущности, было страннее, что я так возмутился, обнаружив в нашем случайном собеседнике представителя запретной профессии.

С., подошедший к нам, когда мы обменялись последними словами, слегка ударил меня по плечу.

— Ты теряешь голову? — спросил мой друг.

— Он, вероятно, получил большое наследство и поэтому прекратил службу, сдав ее своему преемнику, — бормотал я, совершенно затуманенный парами пунша.

— Послушай, — сказал С., — неужели ты серьезно думаешь, что он имеет какое-либо касательство к предстоящей казни?

— Значит, ты слышал наш краткий, но поучительный разговор? — понизив голос, ответил я. — Да, этот господин — палач, по всей вероятности, из Бельгии. Он и есть тот выписанный из-за границы помощник, о котором только что упоминала Антони. Если бы не его находчивость, я, вероятно, сделал бы какую-нибудь бестактность и испугал бы наших молодых дам.

— Что ты говоришь? — возразил С. — Где ты видел палачей, разъезжающих в собственном экипаже, стоящем, по меньшей мере, тридцать тысяч франков? Палачей, подносящих своим соседкам по ужину дорогие бриллианты и в ночь перед исполнением своей обязанности кутящих до рассвета в «Мезон-Доре»? С тех пор, как ты бываешь в кафе Шуазейль, тебе всюду мерещатся палачи. Ступай и выпей еще стакан пунша! Твой господин Сатурн позволил себе зло подшутить над тобой.

Мне показалось после этих слов, что мой друг С., поэт, совершенно прав. Я гневно схватил перчатки и шляпу и направился к двери.

— Хорошо!

— Ты прав,—сказал С.

— Но эта шутка продолжалась слишком долго, — добавил я и раскрыл дверь зала. — Если мне удастся захватить этого таинственного господина, клянусь...

— Постой, посмотрим, кому из нас удастся первому задержать его, — сказал С.

Я намеревался сердито ответить ему, как вдруг за спущенными драпировками послышался звучный, всем нам хорошо знакомый голос.

— Совершенно излишне! Оставайтесь здесь, дорогой друг!

Это был, в самом деле, наш знаменитый друг, маленький доктор Флориан Лезельзотт, который вошел, пока мы

обменивались последними словами, и теперь стоял перед нами в своей совершенно засыпанной снегом накидке.

— Любезный доктор, — сказал я, — я сейчас буду весь к вашим услугам, но, извините меня, теперь...

Он удержал меня, пояснив:

— Когда я расскажу вам историю человека, который только что вышел из этого кабинета, тогда вы раздумаете мстить ему за навязчивость. Кроме того, вы опоздали, он уже уехал в своем экипаже!

Он сказал это столь внушительным тоном, что мы все смутились.

Я сел обратно на свое место.

— Расскажите же мне вашу историю! Но не забудьте, Лезельзотт, — вы виноваты в том, что я упустил его, и я считаю вас за это ответственным.

Знаменитый ученый тщательно поставил в угол свою трость с золотым яблоком в виде набалдашника, любезно поцеловал руки нашим трем красавицам, налил себе рюмку мадеры и начал рассказывать. Мы слушали его с напряженным вниманием, погрузившись в сосредоточенное молчание.

— Я понимаю это ночное приключение. Я настолько точно знаю все, что здесь происходило, как если бы я сам находился с вами. Хотя то, что вы здесь испытали, само по себе не опасно, однако, пережитое вами легко могло стать роковым.

— Почему? — спросил С.

— Этот господин, действительно, происходит из весьма знатной немецкой семьи. Его зовут бароном фон Х. Он многократно миллионер... но...

Доктор посмотрел на нас.

— Но он подвержен необычайному душевному расстройству, установленному медицинскими факультетами мюнхенского и берлинского университетов. Он — жертва удивительной и, по-видимому, неизлечимой мономании, наблюдаемой впервые!

Доктор говорил поучающим тоном, точно излагая лекцию по сравнительной физиологии.

— Значит, это был сумасшедший? Объяснитесь точнее, — сказал С., встав, чтобы закрыть дверь на задвижку.

При этих словах с губ красавиц исчезли приветливые улыбки.

Мне самому казалось, что я грежу.

— Сумасшедший! — воскликнула Антони. — Но ведь таким людям не позволяют разгуливать на свободе!

— Мне кажется, я уже сообщил вам: барон фон Х. располагает многими миллионами, — серьезно ответил Лезельизотт. — Поэтому он заставляет запирать других людей, если они ничего не имеют против этого.

— И в чем же состоит его навязчивая идея? — спросила Сусанна. — Я должна вам признаться, что нашла этого господина весьма привлекательным.

— Вы, вероятно, перемените мнение о нем, — возразил доктор и закурил папиросу.

Лучи рассвета проникли в комнату, пламя восковых свечей потускнело, огонь в камине догорел.

Мы были угнетены тем, что услышали, — точно на нас навалились Альпийские горы. Доктор Лезельизотт не был человеком, способным на мистификацию. Он сообщил нам одну только голую правду, столь же несомненную, как ужасная машина, которую сооружали на площади неподалеку от нас.

Он отхлебнул глоток мадеры и продолжал:

— Едва достигнув совершеннолетия, этот серьезно настроенный молодой человек отправился путешествовать. Он побывал в Индии, исколесил по всем направлениям Азию. В этих путешествиях надо искать причину его таинственного заболевания. Во время какого-то восстания на Дальнем Востоке, ему привелось присутствовать при одной из казней, которым подвергают, по суровым законам тех стран, бунтовщиков и преступников. Сначала он сделал это просто по некоторому, свойственному многим путешественникам любопытству.

Но вид казненных, как можно догадываться, пробудил в нем чувство жестокости, превзошедшее все известные ранее пределы, затуманившее его сознание, отравившее кровь

и превратившее его, наконец, в того человека, которым он теперь сделался.

Представьте себе, что могло совершить всемогущество денег барона фон Х. в старых тюрьмах главных городов Персии, Китая и Тибета! Сколько раз удавалось ему добиться от правителей ужасной милости — выполнить казнь вместо обычного палача! Вы знаете отвратительный эпизод с сорока фунтами вырванных глаз, поднесенных на двух золотых блюдах персидскому шаху Насср-Эддину в день торжественного въезда в один завоеванный город? Барон, в одежде туземца, потрудился усерднее всех при изготовлении этой страшной гекатомбы. Казнь двух зачинщиков восстания, пожалуй, была еще более жестокой. Согласно приговору, им должны были вырвать все зубы; затем эти зубы надлежало вбить молотком в гладко выбритые для этой цели черепа и притом так, чтобы зубы составили имя прославленного Фет-Али-шаха.

И опять-таки наш любитель, пустив в ход мешки с рупиями, добился разрешения осуществить эту пытку со всей свойственной ему преднамеренной неловкостью.

Можно задать себе вопрос, кто безумнее, — тот, кто предписывает такие казни или тот, кто их выполняет? Вы возмущены? А между тем, если вздумается такому индийскому властителю поехать в Париж, мы будем чувствовать себя польщенными! Мы будем жечь в его честь фейерверки, расцвечивать улицы флагами, расставлять солдат шпалерами...

Но не стоит больше говорить об этом! Если верить документам капитанов Гоббси и Эджимсона, утонченная жестокость, которую проявлял в таких случаях барон фон Х., превосходила все ужасы и гнусности Тиверия и Гелиогабала; ничего равного нельзя найти в летописях человечества.

Доктор Лезельзотт остановился и взглянул на каждого из нас с явно насмешливым видом.

Мы так внимательно слушали его, что наши папиросы погасли.

Доктор продолжал:

— Барон фон-Х. вернулся затем в Европу. Он чувствовал себя в некотором роде пресыщенным, так что почти мож-

но было надеяться на его выздоровление. Но это продолжалось недолго; вскоре прежнее безумие овладело им вновь, зажигая в его крови как бы горячечный жар. Он имел лишь одно желание, преследовал лишь одну цель, но она была ужаснее и жесточе самых изысканных измышлений маркиза де Сада. Он стремился, ни более ни менее, как к тому, чтобы подучить патент на звание генерального палача всех столиц Европы. Он предлагал принять во внимание, что может поручиться за добросовестность, искусное и даже художественное исполнение соединенных с таким званием обязанностей. Во многих прошениях, которые он писал, предлагая свои услуги, он обещал, — в случае, если власти удостоят его доверия, — извлечь из осужденных такие стоны, какие еще никогда не оглашали тюремных сводов!

Еще одна особенность! Когда в его присутствии говорят о Людовике XVI-ом, глаза его загораются безграничной ненавистью. Людовик XVI-й был первым монархом, в свое время заговорившим об отмене смертной казни; поэтому, вероятно, это — единственный человек, когда-либо возбуждавший ненависть в бароне фон Х.

Прошения его, как и следовало ожидать, возвращали ему с отказом, и он обязан лишь ходатайствам своих наследников, что его не засадили, как бы следовало, в сумасшедший дом. В завещание его отца, покойного барона фон Х., включены некоторые пункты, заставляющие семью оберегать сына от гражданской смерти во избежание огромных денежных убытков. Таким образом, человек этот продолжал скитаться на свободе! Он отлично ладит с исполнителями приговоров. Куда бы он ни приехал, всюду он первым делом навещает к ним. Он имеет обыкновение платить им значительные суммы, когда палачи соглашаются уступить ему свое место при совершении казни, и я думаю, — добавил доктор, хитро подмигнув глазом, — что ему не раз удавалось добиться такой подмены и в Европе!

В одном отношении его безумие ограничено точными пределами: он интересуется лишь людьми, осужденными на смерть законно состоявшимся приговором. Если не принимать в соображение этого душевного расстройства, ба-

рон фон Х. может быть признан и пользуется репутацией весьма развитого и любезного собеседника.

Однако, для немногих посвященных в его двусмысленном дружелюбии всегда сквозит ужасное безумие.

Он часто с увлечением говорит о Востоке, куда намерен возвратиться. Невозможность добиться диплома на звание всемирного генерального палача глубоко огорчила его. Ему мерещатся грезы Торквемады, Арбуэца, герцогов Альба или Йоркского. Мономания все больше овладевает всеми его мыслями. Где бы ни готовилась смертная казнь, он немедленно получает известие от своего тайного агента, и обыкновенно раньше, чем успевают узнать сами палачи. Он поспешает, летит туда и всегда находит занятым для себя место у самого подножия эшафота. И в настоящую минуту он там. Он не мог бы спокойно заснуть, если бы не уловил последнего взора осужденного. Вот каков, господа, человек, в обществе которого вы имели честь находиться в эту ночь! Я могу еще добавить, что, независимо от своих необычайных особенностей, он в светском обращении безупречен, находчив и остроумен, как собеседник, и...

— Довольно! перестаньте! — воскликнули Антони и белокурая Клио, на которых насмешливые слова доктора произвели чрезвычайно глубокое впечатление.

— Это поклонник гильотины, опьяняющийся муками ее жертв! — прошептала Сусанна.

— Положительно, если бы я не знал вас, любезный доктор, я бы...

— Вы не поверили бы мне, — перебил моего приятеля С. доктор Лезельзотт. — Я сам долго не верил. Но, если вы хотите, мы можем пойти туда проверить. У меня есть пропускные билеты. Несмотря на расставленные кордоном войска, нас туда пропустят беспрепятственно. Я попрошу вас только наблюдать за его лицом во время казни, — вот и все. После этого вы перестанете сомневаться в моих словах.

— Весьма благодарен вам за любезное приглашение! Я предпочитаю, в таком случае, на слово верить всему, что вы рассказали, — как ни ужасны приведенные вами факты!

— Да, нечего сказать, славная штука этот ваш госпо-

дин барон, — сказал доктор, пододвигая к себе тарелку с крупными раками, каким-то чудом уцелевшими до него.

Заметив, что мы все притихли, он добавил:

— Напрасно вы принимаете так близко к сердцу мои слова. Столь потрясающее впечатление производит, в сущности, лишь необычайность этой мономании. Во всех других отношениях этот маньяк ничем не отличается от прочих сумасшедших. Вы могли бы узнать о почти столь же странных иных заболеваниях. Могу вам поклясться, что все мы, среди белого дня и в любое время, ничего не подозревая об этом, соприкасаемся с людьми, более или менее одержимыми безумными представлениями.

— Дорогой друг, — сказал С. после продолжительного молчания, — я должен откровенно сознаться, что меня несколько не взволновало бы соприкосновение с таким человеком. Само собой разумеется, однако, что я не стал бы искать встречи с ним. Но если бы она произошла сама собой, я могу поручиться, — и Лезельзотт подтвердит мои слова, — что вид и даже сообщество человека, избравшего для заработка столь ужасную профессию, вовсе не произвели бы на меня отталкивающего впечатления. Я в этом отношении настроен весьма прозаично.

Но вид человека, столь низко павшего, что он приходит в отчаяние, потому что не может по праву выполнять такие обязанности, — да, это, действительно, производит на меня впечатление! И я не колеблясь признаю, что если есть духи, вырвавшиеся из преисподней, чтобы блуждать среди нас человеческими оборотнями, наш сегодняшний гость принадлежит к числу самых худших, каких только можно встретить. Вы называете его сумасшедшим, но это вовсе не оправдывает столь извращенной природы. Настоящий палач не произвел бы на меня никакого впечатления, — этот же страшный сумасшедший поразил меня безграничным ужасом.

После этих слов водворилось тяжелое молчание. Казалось, точно сама смерть появилась среди нас.

— Я чувствую себя не совсем хорошо, — сказала белокурая Клио. Нервное возбуждение и холодок утренних суме-

рек придали ее голосу разбитый, тусклый звук. — Поедемте все в мою виллу. Попытаемся вместе забыть там это печальное приключение. Дорогие друзья, поедемте все со мной. Вы найдете приготовленными для себя ванны, удобные спальни, экипажи и лошадей. — Она сама едва понимала, что говорила. — Вилла посередине Булонского леса; не пройдет и двадцати минут, как мы будем там. Пожалуйста, поймите меня правильно: мысль об этом человеке делает меня больной; если бы мне пришлось остаться одной, я боялась бы, что он в любой момент войдет ко мне со свечой в руке и с приторной улыбкой на губах, от которой у меня пробегает дрожь по всему телу.

— Да, мы провели необычайную ночь, — сказала Сусанна Джексон.

Лезельзотт покончил со своими раками и с довольным видом вытирал губы. Мы позвонили. Явился Жозеф. Пока мы расплачивались, шотландка шепнула Антони:

— Маленькая Изольда! Не следует ли тебе кое-что сказать Жозефу?

— Да, — ответила красивая, совершенно бледная девушка, — ты отгадала мое намерение.

Затем она обратилась к старшему гарсону:

— Жозеф, возьмите себе это кольцо. Рубин в нем кажется мне слишком темным. Не правда ли, Сусанна? Он имеет такой вид, точно в эти бриллианты оправили каплю крови. Продайте кольцо и раздайте вырученную сумму бедным, которые будут проходить мимо ресторана.

Жозеф взял кольцо, низко поклонился и вышел распорядиться, чтобы подавали экипажи. Дамы стали приводить в порядок свои туалеты, накинули на себя длинные черные шелковые домино и снова надели свои маски.

Пробило шесть часов.

— Подождите немного, — сказал я и указал на стоячие часы. — Этот час делает всех нас несколько причастными безумию этого человека. Поэтому не откажем и ему в сострадании. Разве в это мгновение мы не проявляем почти столь же беспощадную жестокость?

После этих слов наступило глубокое безмолвие.

Сусанна посмотрела на меня, быстро повернулась и широко распахнула окно.

На всех колокольнях Парижа часы выбивали шесть.

После шестого удара мы все содрогнулись. Взор мой упал на голову бронзового демона с искаженными чертами, разделявшую на две половины кроваво-красную волну пурпурной драпировки.

Огюст Вилье де Лиль-Адан

ТАЙНА ЭШАФОТА

Состоявшиеся недавно смертные казни напоминают мне совершенно необычайный случай, который я сейчас опишу.

Вечером 5-го июня 1864 года, около семи часов, доктор Эдмон-Дезире Кути де ла Поммере, только что перевезенный из тюрьмы Консьержери в тюрьму Ла-Рокет, сидел в камере, предназначенной для приговоренных к смерти; на нем была надета смирительная куртка.

Безмолвно, устремив взор в пространство, откинулся он на спинку своего стула.

Стоящая на столе свеча освещала его бледное, точно застывшее лицо.

В двух шагах от него, прислонившись к стене и не сводя с него глаз, стоял часовой.

Почти все арестанты принуждены выполнять ежедневно работу, из скудной платы за которую тюремное управление вычитает стоимость савана, не включенного в список обязательных расходов. Только приговоренные к смерти освобождаются от этой обязанности.

Кути де ла Поммере не принадлежал к числу людей, выдающих внешним видом свои чувствования; взор его не обнаруживал ни страха, ни надежды.

Ему было около тридцати четырех лет; брюнет, среднего роста и стройного телосложения, он лишь за последнее время стал слегка седесть около висков. Глаза его имели нервное выражение и были наполовину прикрыты веками; у него был лоб мыслителя. Голос его звучал сухо и сдавленно. Руки были длинны и нервны. Лицо носило отпечаток некоторой самоуверенности. Манеры не были лишены известного заученного изящества. Такова была внешность приговоренного к смерти.

Знаменитому адвокату Ланю, при разбирательстве процесса доктора Кути де ла Поммере перед уголовным судом департамента Сены, не удалось рассеять тройного тягостного впечатления, произведенного на присяжных заседателей обвинительным актом, допросом свидетелей и речью прокурора, господина Оскара де Налле.

Доктор Эдмон Кути де ла Поммере обвинялся в том, что с целью обогащения и с полной предумышленностью отра-

вил постепенно увеличиваемыми приемами растительного яда одну расположенную к нему даму, госпожу де Пов.

Присяжные заседатели признали его виновным и, на основании параграфов 301 и 302 кодекса Наполеона, он был приговорен к смертной казни через обезглавливание.

Вечером 5-го июня 1864 года он еще не знал, что его кассационная жалоба, равно как и ходатайство его родных об аудиенции у императора, на которой они хотели умолять о его помиловании, были бесповоротно отклонены. Защитник Кути де ла Поммере был счастливее, — ему удалось добиться доступа к императору. Но Луи-Наполеон выслушал его невнимательно. Даже почтенный аббат Крозе, поспешивший до казни посетить дворец Тюльери, чтобы испросить помилование приговоренному, принужден был удалиться, не получив никакого ответа.

Если бы даже при таких условиях не была применена смертная казнь, — не было ли бы это равносильно полной ее отмене? Необходимо было преподать устрашающий пример.

Так как, по мнению суда, не могло быть и речи о пересмотре процесса и следовало ожидать в любой момент подписания приказа о приведении приговора в исполнение, то палач был извещен, что девятого числа, в пять часов утра, осужденный будет передан в его руки.

Вдруг послышался стук ружейных прикладов, опущенных часовыми на каменные плиты ведущего к камере коридора. Ключ заскрипел в заржавленном замке. Дверь раскрылась; штыки блеснули в полумраке. На пороге появился директор тюрьмы Рокет, господин Бокен, сопровождаемый каким-то посетителем.

Кути де ла Поммере поднял голову и с первого же взгляда узнал в этом посетителе знаменитого хирурга Армана Вельпо.

По знаку директора тюрьмы, часовые удалились. Безмолвно представив заключенному гостя, вышел из камеры и господин Бокен.

Товарищи остались наедине. Они испытующе смотрели в глаза друг другу.

Де ла Поммере молча предложил хирургу свой стул, а сам сел на койку, сон на которой обыкновенно прерывается внезапно...

Так как было довольно темно, знаменитый врач близко наклонился к... больному, — чтобы можно было лучше наблюдать его и беседовать вполголоса.

Арману Вельпо в то время исполнилось уже шестьдесят лет. Слава его достигла своего зенита, он унаследовал академическое кресло Ларрея и был первым и самым выдающимся из профессоров хирургической клиники в Париже. Его сочинения отличались убедительной ясностью и живостью изложения; признанный, благодаря им, светилом патологической науки, он и в качестве практикующего врача считался одним из самых выдающихся авторитетов своего времени.

Прошло несколько мгновений удручающего безмолвия.

— Врачи между собой, — начал, наконец, говорить Вельпо, — должны избегать бесполезного сострадания. Кроме того, я сам страдаю неизлечимой болезнью желез, которая неизбежно через два, самое позднее — через два с половиной года должна свести меня в могилу. Таким образом, хотя роковой час может наступить для меня несколько позднее, тем не менее, я все-таки считаю себя приговоренным к смерти. Поэтому я хочу, без дальнейших оговорок, приступить к изложению того, что привело меня сюда.

— Судя по вашим словам, доктор, положение мое безнадежно? — перебил его де ла Поммере.

— Можно опасаться, — просто ответил Вельпо.

— Назначен ли день моей казни?..

— Я не знаю этого; но, так как пока ничего не известно относительно вашей участи, то вы можете еще с достоверностью рассчитывать на несколько дней.

Де ла Поммере отер рукавом смирительной куртки холодный пот со своего лысого лба.

— Ну, что ж! Я приготовился, я ожидал этого; чем скорее, тем лучше.

— Во всяком случае, так как донныне ничего в точности не известно относительно вашей участи, то предложение,

ради которого я сюда явился, само собой разумеется, является лишь условным... Если вас помилуют, тем лучше!... Если же нет...

Великий хирург не договорил своей мысли.

— Если же нет, то?.. — спросил де ла Поммере.

Вельпо, не отвечая, сунул руку в карман, вытащил небольшой футляр с хирургическими инструментами, открыл и, взяв ланцет, слегка надрезал рукав куртки де ла Поммере у сгиба левой руки; затем он пощупал пульс у приговоренного к казни.

— Господин де ла Поммере, — сказал он после этого, — ваш пульс показывает мне, что вы обладаете редким хладнокровием и твердостью духа. Сообщение, которое я хочу вам сделать и которое, во всяком случае, должно быть сохранено втайне, сводится к просьбе, которая может показаться не только неуместным, но, пожалуй, и преступным издевательством даже врачу с вашей энергией, столь глубоко проникшему в тайны науки и давно отделившемуся от всякого страха перед смертью. Думается мне, однако, что мы знаем друг друга. Поэтому я рассчитываю, что вы подвергнете мои слова обстоятельному обсуждению, хотя бы они и произвели на вас сначала удручающее впечатление.

— Обещаю вам отнестись к ним с полным вниманием, — ответил де ла Поммере.

— Вы знаете, — продолжал Вельпо, — что современная физиология считает одной из своих интереснейших задач — установить, сохраняется ли какой-либо след памяти, восприимчивости или ощущения в мозгу человека, голову которого отделили от тела.

При этом неожиданном вступлении приговоренный к смерти содрогнулся всем телом; сдержав себя, однако, он произнес совершенно спокойным тоном:

— Когда вы вошли ко мне, доктор, я как раз был занят этой проблемой, — которая, как вы согласитесь, представляет именно для меня двойной интерес.

— Ознакомлены ли вы с написанными по этому вопросу новейшими работами Зеймеринга, Сю, де Седилло и де Биша?

— Да, конечно. Я даже присутствовал при вскрытии тела одного казненного.

— Ах, не будем больше говорить об этом! Имеете ли вы совершенно точное с хирургической точки зрения представление о гильотине и ее действии?

Де ла Поммере бросил долгий, испытующий взор на Вельпо и холодно ответил:

— Нет, доктор.

— Я не далее, как сегодня, самым научным и точным образом исследовал эту машину, — невозмутимо продолжал говорить Вельпо, — и я могу засвидетельствовать, что этот инструмент — само совершенство.

Ниспадающий нож-секира действует одновременно как серп и как молот, разрубая шею пациента в треть секунды. Обезглавливаемый столь же мало способен ощутить боль от молниеносно-быстрого, мощного удара, — как солдат на поле битвы, у которого ядро внезапно отрывает руку. Недостаток времени сводит к нулю, совершенно уничтожает всякое восприятие.

— Но, быть может, болевое ощущение возникает после операции? Остаются две зияющие на здоровом теле, свежие, большие раны. Кажется, Юлия Фортенель, приводя ряд доказательств, задается вопросом, не влечет ли за собой именно эта стремительность более болезненных последствий, чем казнь посредством меча или топора?

— И Берар высказывает такое же предположение, — ответил Вельпо. — Я же твердо убежден, опираясь на более чем сто случаев и собственные тщательные наблюдения, что всякое болевое ощущение исчезает в то же самое мгновение, как голова отделяется от туловища. Внезапное прекращение деятельности сердца, наступающее тотчас же вследствие потери от четырех до пяти литров крови, заливающей нередко на целый метр все окружающее пространство, должно было бы само по себе успокоить в этом отношении самых пугливых. Что касается бессознательных конвульсий тела, жизненные отправления которого были прекращены столь внезапно, то они вовсе не являются признаками продолжающегося болевого ощущения, — они столь же мало

свидетельствуют о нем, как подергивания отрезанной ноги, нервы и мускулы которой сокращаются, не причиняя никакого ощущения. Я полагаю, что единственно ужасны и мучительны при этой церемонии лихорадочная нервность, сопряженная со страхом неведомого, торжественность роковых приготовлений и неожиданное пробуждение от утренней дремоты. Самой казни вовсе не чувствуют, предполагаемая боль есть не что иное, как призрак воображения! Если сильный удар по голове не только вовсе не ощущается, но даже не оставляет после себя ни малейшего воспоминания, если простое повреждение спинного хребта влечет за собой временную утрату чувствительности, неужели отделение головы, пересечение позвоночника, устранение органической связи между сердцем и мозгом недостаточны, чтобы лишить человеческое существо всякой восприимчивости, чтобы избавить его от малейшего ощущения боли? Иначе быть не может! И вы знаете это не хуже меня.

— Я надеюсь даже, что мне это еще лучше известно, — возразил де ла Поммере. — Поэтому меня пугает вовсе не сильная физическая боль, едва ощутимая при этой ужасной катастрофе и немедленно заглушаемая внезапно наступающей смертью. Нет, я боюсь совсем иного.

— Не попытаетесь ли вы пояснить, что именно внушает вам страх? — спросил Вельпо.

— Выслушайте же меня, — ответил де ла Поммере, немного помолчав. — Мы знаем, что органы памяти и воли, если они расположены в той же стороне головного мозга, как это установлено относительно, например, собак, вовсе не бывают затронуты перерубающим ножом.

Мне известен целый ряд сомнительных и в высшей степени тревожных случаев, которые доказывают, что обезглавленный, после казни, далеко не вполне утрачивает сознание. Существует легенда, что отделенная от позвоночника голова, если к ней обратятся после казни с вопросом, смотрит на спрашивающего. Неужели такое действие может быть подведено под понятие произвольного или так называемого рефлекторного нервного движения?

Вспомните тот случай в брестской клинике, когда голо-

ва матроса, через час с четвертью после того, как была отделена от шеи, крепко стиснув челюсти, перегрызла положенный между зубами карандаш? Но это лишь один пример из тысячи. Единственный вопрос, о котором в данном случае может быть речь, состоит в том, чтобы установить, может ли, после прекращения гематоza (кровевыделения), влиять на мускулы обескровленной головы то, что я назыву индивидуальным самосознанием, т. е. «я» человека?

— «Я» живет лишь в совокупности нерасторгнутого человеческого тела, — сказал Вельпо.

— Хребетный мозг есть лишь продолжение малого мозга, — возразил де ла Поммере.

Где же пребывает человеческий дух? Кто дерзнет разоблачить эту тайну? Не пройдет и восьми дней, как я в точности узнаю это — и тотчас же забуду.

— Быть может, зависит от вас, чтобы человечество раз навсегда покончило с этим вопросом, — медленно ответил Вельпо, пристально смотря на осужденного. — Я именно за тем и пришел сюда, чтобы поговорить об этом.

Я послан к вам представителем наших наиболее выдающихся товарищей по парижскому медицинскому факультету. Вот подписанный императором приказ, благодаря которому мне предоставили свободный доступ к вам. Он дает весьма широкие полномочия, достаточные даже для того, чтобы, в случае необходимости, отсрочить вашу казнь.

— Изложите ваше намерение яснее, я перестал понимать вас, — ответил взволнованным голосом де ла Поммере.

— Я обращаюсь к вам, господин де ла Поммере, во имя науки, которая так безгранично дорога нам обоим, и мученики которой неисчислимы. Хотя мне самому представляется по меньшей мере сомнительным, чтобы возможно было осуществить предположенное соглашение с вами, тем не менее, я пришел сюда, чтобы испросить у вас величайшего проявления силы воли и мужества, которое доступно человеку. Если ваше ходатайство о помиловании будет отвергнуто, вам, как врачу, придется самому подвергнуться наиболее ужасной операции, какая вообще существует. Человеческое знание обогатится неоценимым приобретением, если

такой человек, как вы, согласится попытаться дать нам сообщение после совершения казни, — хотя бы, как можно предполагать, с почти полной достоверностью, результат такого опыта оказался отрицательным.

Допустив, что подобная попытка не представляется вам в самом принципе своем нелепой, мы приобретем все-таки некоторый шанс почти чудесным образом осветить современную физиологию. Нельзя пренебречь возможностью сделать такой опыт, — и в случае, если бы оказалось, что вам удастся после казни обменяться с нами условленным проявлением сознательности, вы создадите себе столь громкое имя, перед научной славой которого совершенно померкнет воспоминание о вашем общественном проступке.

— Ах, — прошептал де ла Поммере, мертвенно побледнев и скорбно улыбаясь, — ах, я начинаю теперь понимать вас! В самом деле, Мишело учит нас, что посредством казни может быть разоблачена тайна обмена веществ! Итак, — какого же рода эксперимент вами надуман? Гальванические токи? Раздражение ресниц? Впрыскивания крови? Но все эти опыты малодоказательны.

— Само собой разумеется, что, как только печальная церемония будет закончена, ваши останки будут мирно преданы земле, — никакой из наших скальпелей не прикоснется к ним. Но в тот момент, когда нож машины упадет, я буду стоять прямо против вас. Палач как можно быстрее поспешит передать мне вашу голову. Тогда — опыт столь многозначителен именно по своей чрезвычайной несложности — я крикну вам на ухо: «Господин де ла Поммере, можете ли вы в это мгновение, согласно заключенному нами при вашей жизни условию, трижды поднять и снова опустить веко вашего правого глаза, оставляя другой глаз широко раскрытым?» Если, независимо от остальных возможных в этот момент конвульсий вашего лица, вы окажетесь в состоянии трижды произвольно мигнуть вашим глазом, чтобы доказать нам, что слышали и поняли мои слова, вы засвидетельствуете этим, что в силу своей энергии и памяти остались господином приводящих веко в движение мышц и нервов скуловой кости и соединительных покровов. Этим

вы окажете огромную услугу науке и опровергнете все наши прежние наблюдения. И прошу вас не сомневаться, что я позабочусь о том, чтобы ваше имя сохранилось в потомстве не как имя преступника, а как имя героического подвижника науки!

Де ла Поммере, по-видимому, был глубоко потрясен необычайной просьбой; он сосредоточенно и с широко раскрытыми глазами смотрел на хирурга. Как бы оцепенев на несколько минут в недвижимом безмолвии, он вдруг поднялся с койки и стал медленно шагать из угла в угол по камере, скорбно покачивая головой.

— Страшная сила удара лишит меня возможности исполнить ваше желание, — наконец, произнес он. — Мне кажется, что осуществление вашего плана превосходит человеческие силы. Кроме того, надо принять в соображение, что жизненная сила обезглавленных гильотиной не одинакова. Во всяком случае, придите еще раз в день казни. Только тогда я отвечу вам, готов ли я подвергнуться этому страшному и, быть может, обманчивому испытанию. Если я уклонюсь, то позволю себе рассчитывать на ваше молчание; и, не правда ли, вы позаботитесь о том, чтобы моя голова могла спокойно испустить всю свою кровь в предназначенное для этой цели жестяное ведро?

— До скорого свидания, господин де ла Поммере, — сказал Вельпо, также поднимаясь со своего места, — обдумайте наше предложение.

Они поклонились друг другу.

Мгновение спустя доктор Вельпо вышел из камеры, в которую вернулся сторож, а приговоренный к смерти тихо улегся на койку, — чтобы заснуть или погрузиться в размышления.

* * *

Четыре дня спустя, в 5 ½ часов утра, в камеру вошли директор тюрьмы Бокен, аббат Крозе и чиновники императорского судебного управления Клод и Потье.

Внезапно пробужденный от сна, де ла Поммере тотчас же понял, что роковой час настал; он поднялся очень бледный со своей койки и стал быстро одеваться,

Затем он тихо говорил в течение почти десяти минут с аббатом Крозе, уже многократно навешавшим его в тюрьме.

Этот святой человек, как известно, был воодушевлен проникновенной любовью к Богу и человечеству; ему удавалось поддерживать и утешать приговоренных к смерти в последние часы их жизни.

Увидев приближающегося доктора Вельпо, де ла Поммере обратился к нему и сказал:

— Я упражнялся и уже приобрел навык, — посмотрите.

И в то время, пока читали приговор, он держал правый глаз закрытым, пристально смотря на хирурга широко открытым левым глазом.

«Туалет» осужденного был закончен быстро. Присутствующие обратили внимание, что волосы де ла Поммере не поседели, как только к ним прикоснулись ножницы, — что наблюдалось обыкновенно при снаряжении других приговоренных к смертной казни.

Когда затем аббат прочел ему, понизив голос, прощальное письмо от жены, из глаз де ла Поммере брызнули горячие слезы. Сострадательный аббат нежно осушил их вырезанным из рубашки осужденного лоскутом.

Когда ему набросили на плечи плащ и он приготовился идти, зазвенели ручные кандалы. Де ла Поммере отказался от предложенного ему стакана водки, и печальная процессия двинулась в путь. Когда она достигла портала тюрьмы, осужденный отыскал глазами доктора Вельпо, поклонился ему и тихо произнес:

— До скорого свидания — и прощайте.

Железные ворота вдруг распахнулись и пропустили процессию.

В тюрьму повеяло холодным утренним ветром. Чуть брезжило; широко раскинувшийся двор тюрьмы был оцеплен двойным кордоном кавалерии. Напротив, на расстоянии десяти шагов, виднелись расположившиеся полумесяцем

конные жандармы, при появлении печальной процессии выхватившие из ножен свои сабли. На заднем плане возвышался эшафот. В некотором отдалении стояли представители печати, почтительно обнажившие свои головы.

Еще дальше, за обрамляющими площадь высокими деревьями, тревожно колыхалась и шумела толпа любопытных, простоявших всю ночь, чтобы не упустить потрясающего зрелища. На крышах и в окнах гостиниц и кафе виднелись женщины в помятых шелковых платьях, с бледными, истомленными бессонницей лицами; некоторые из них еще держали в руках бокалы с шампанским. Около них толпились такие же помятые мужчины в вечерних костюмах; все они жадно высовывались вперед, не сводя взора с ужасного зрелища.

В чистом утреннем воздухе купались ласточки, шумно проносясь над людскими головами.

Черный силуэт гильотины резко вырисовывался на горизонте; между его как бы с угрозой распростертыми перекладами сверкала последняя звезда.

При страшном виде эшафота осужденный содрогнулся, но тотчас преодолел свое волнение и твердыми шагами приблизился к машине. Спокойно поднялся он по ступеням, ведущим к помосту. Ужасный треугольный нож в черной раме затмевал своим блеском мерцание заходящей звезды. Приблизившись к гильотине, де ла Поммере приложился к распятию и поцеловал прядь своих собственных волос, поднесенную ему аббатом Крозе.

— Для нее! — прошептал он.

Очертания пяти находившихся на эшафоте лиц обрисовывались с полной отчетливостью. На площади в это мгновение водворилась столь напряженная тишина, что до печальной группы донеслись треск сука, подломившегося под тяжестью одного из любопытных зрителей, и взрыв гнусного хохота.

Часы, последнего удара которых Эдмону де ла Поммере не суждено было услышать, начали выбивать шесть; взор осужденного встретился с пристально устремленными на него глазами хирурга Вельпо, стоявшего прямо напротив и

опиравшегося одной рукою на помост. Де ла Поммере напрыг свою волю и закрыл глаза.

Быстро сдвинулся рычаг, затвор отскочил, нож ринулся вниз. Страшный удар заколебал помост. Лошади жандармов взвились на дыбы. Эхо ужасного удара не успело еще перестать вибрировать в воздухе, как голова казненного очутилась уже в беспощадных руках хирурга, заливая кровью его руки, манжеты и платье.

На Вельпо смотрело мрачное, необычайно бледное лицо с грозно наморщенным лбом, вытаращенными глазами и раскрытым ртом. Нижняя часть подбородка была повреждена ударом.

Вельпо торопливо наклонился к голове и громко произнес в правое ухо условленный вопрос. Как ни закален был этот человек, лоб его невольно оросился холодным потом, когда веко правого глаза казненного стало опускаться, в то время как широко раскрытый левый глаз продолжал смотреть на хирурга.

— Ради Бога, — воскликнул Вельпо, — повторите еще дважды этот знак!

Ресницы дрожали, точно от чудовищного напряжения, но веко не поднялось вторично. Через несколько секунд маска казненного застыла, стала холодной и неподвижной.

Все было кончено.

Доктор Вельпо передал мертвую голову обратно в руки палача, который, как установлено обычаем, положил ее между ногами казненного.

Знаменитый хирург вымыл свои руки в одном из больших чанов с водой, приготовленных для обмывания эшафота. Окружающая толпа стала расходиться, не узнав его и не обратив на него внимания. Молча осушил он свои руки.

Затем, медленными шагами, глубоко задумавшись, Вельпо приблизился к своему экипажу, ожидавшему у входа в тюрьму. Поднимаясь в карету, он заметил бедные черные дроги, быстро покотившиеся по направлению к Монпарнасскому кладбищу.

3. Лионель

ИСПОВЕДЬ

Клянусь вам, господа, вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь, предполагая, что я «умственно расстроен». Вы ищете причины, побудившие меня совершить это преступление, но, не находя их, говорите, что я «ненормален», хотите оправдать меня, дарить мне жизнь. Но я говорю вам, господа, что мне жить — невозможно; одна мысль о моей будущей жизни холодит во мне кровь; я зову, я жажду смерти, так как только смерть — для меня успокоение.

Я последовательно расскажу вам все подробности этого страшного преступления, и тогда, я думаю, вы вполне убедитесь, что перед вами глубоко несчастный, но далеко не сумасшедший человек.

Вы знаете, что несчастный Альваро был моим лучшим другом; он был мне предан, как брат.

Благодаря своей необыкновенной, из ряда выходящей, непреклонной энергии и страшной силе воли, ему почти всегда удавалось достигнуть всего, чего он желал.

Я же был прямая противоположность моему другу. Отсутствие всякой воли, ужасная бесхарактерность по отношению к себе и окружающим, склонность к фантазерству — это я.

Однажды вечером сидел я у Альваро. Этот-то вечер и положил начало первому звену роковой цепи последующих событий.

Альваро показывал мне редкую античную вазу, которой я очень интересовался, как вдруг — вследствие ли быстрой перемены температуры — верхняя часть ее бесшумно отделилась и, упав на пол, разбилась вдребезги.

— Удивительно, — сказал Альваро, — ты заметил, как странно отделилась эта часть, будто сбитая невидимым ударом?

— Да, — ответил я. — Мое больное воображение начало уже рисовать мне ужасные картины. — Она отделилась, как голова преступника, ловким ударом палача отделяемая от туловища.

— Довольно странная иллюстрация, — возразил Альваро. — Но, — прибавил он после некоторой паузы, — твоя метафора напомнила мне кое-что. Я читал об этом в одном жур-

нале и думаю, что тебя это заинтересует; ведь ты такой страстный физиолог!

Был диспут между двумя знаменитыми профессорами, посвященный вопросу: сохраняют ли у обезглавленного человека разъединенные части хоть на мгновение сознание, сохраняется ли воля, и способен ли мозг мыслить еще некоторое время, или же все функции прекращаются с того момента, когда опускается гильотина, и голова отделяется от тела. Один из споривших, насколько я помню, утверждал, что тут не может быть никакого сомнения, потому что в одно мгновение только что сознательно двигавшиеся члены, только что работавший мозг не могут остановиться ментально. Второй же смеялся над этой теорией, говоря, что мозг, даже сохранив сознание на некоторое время (что, впрочем, еще не доказано), да и то такое мизерное, которое не поддастся даже измерению, остальной, отделенной части тела сознательных движений передавать не может. Мое же личное мнение таково: последний сознательный момент в очень сильной степени зависит от жизненной энергии и силы воли казненного и быстроты, с которой совершается казнь... Но я вижу, что тебя слишком возбуждает этот разговор. Оставим его.

Он, вероятно, сейчас же забыл об этом разговоре, но я никогда не мог забыть его, не мог освободиться от мыслей, навеянных на меня этим рассказом.

Тому способствовали две причины: во-первых, большое воображение, которое не могло упустить такую благодарную для себя тему, и, во-вторых, моя страсть к физиологии, как науке, занятие которой всегда доставляло мне величайшее наслаждение, но которая теперь превратилась чуть ли не в пункт моего помешательства, почти *idée fixe**.

Я боролся со страстным, непреборимым, до сих пор в такой силе мне еще незнакомым желанием убедиться во что бы то ни стало, может ли обезглавленный человек, сейчас же после совершения над ним казни, думать хоть одну секунду?

* Идея фикс, навязчивая мысль (*фр.*).

И вот, не будучи в силах бороться с этим желанием, я начал обдумывать это дело, строить планы, делать приготовления.

Я приобрел себе длинную, узкую шпагу, которую постоянным оттачиванием довел до остроты самой тончайшей бритвы, положил ее в непроницаемые для воздуха ножны и запер в шкаф. Я порылся в своих вещах и вынул оттуда роскошную шкатулку из орехового дерева, на крышке которой мой давнишний товарищ нарисовал прекрасный вид на море; я приставил ее к стене, смерил вышину и отметил. Несколько выше я прикрепил маленькую кнопку, которую крышка шкатулки при поднятии должна была вдавить внутрь стены. Я вынул из обшивки стены несколько квадратиков, и потом... но нужно ли рассказывать так подробно обо всех этих приготовлениях? Я думаю, достаточно будет, если я вам скажу, что через несколько дней, в течение которых я занимался своими приготовлениями, несколько мне позволяло время, — приблизительно на расстоянии 18-ти дюймов над шкатулкой образовалась горизонтальная щель, оклеенная, под цвет обшивки, бумагой. И в этой узкой щели была теперь прикреплена моя острая шпага, готовая выскочить при первом нажиге кнопки. Шпага придерживалась теперь рычагом, но, освободившись от него, находящаяся под шпагой другая пружина гнала шпагу вперед и заставляла быстро описать полукруг над шкатулкой.

Я отстранил тяжелые драпри, чтоб они не попадались шпаге по дороге, а шкатулку обложил подушками так, что ее не было видно, подушки же были положены туда как будто нечаянно.

Теперь мне ничего не оставалось, как заманить свою жертву в эту комнату, заставить ее пригнуться к шкатулке и открыть, чтобы пустить в ход эту адскую машинку. Острое лезвие выскочит, исполнит свое назначение, и голова тихо упадет на подушки, которые и лежали для того, чтобы заглушить стук падения. Я буду близко стоять, буду следить за головой во время ее падения, не спущу глаз с моей жертвы, и тогда я сумею убедиться, какой из споривших профес-

соров был прав, — сохраняется ли у обезглавленного сознание, и в продолжение какого времени.

Теперь явился важный вопрос — кого я могу избрать своей жертвой? Я был убежден, что последний сознательный момент зависит от силы воли жертвы и ее желания жить.

Кто же из моих знакомых обладал всеми этими качествами?

Альваро...

Дрожь пробежала по моему телу при этом ответе.

Но все-таки это было так. Отрицать этого нельзя было. Только он в состоянии дать верный ответ на такой важный вопрос. Если его воля не переживет этой казни — теория падает.

Но Альваро! Это было ужасно!

Этот страшный эксперимент я должен был произвести над своим лучшим другом, над человеком, который был для меня лучше брата, который так любил меня!

Я почувствовал страх и отвращение при этой мысли. Но это не был страх за себя, за могущее постигнуть меня возмездие в этой или загробной жизни. Об этом я не думал. Убить близкого мне человека, который многие годы был моим единственным другом, который не сделал мне никогда ничего дурного, который верил в меня, как в самого себя, — эта моя собственная мысль пугала меня. Как низко пал я нравственно, что мог так легко решиться посягнуть на его жизнь! Вот что, главное, пугало меня, моя собственная совесть, к самому себе питал я отвращение.

Задумался ли бы я в выборе, если бы в моем распоряжении была другая жертва, способная дать ответ — хотя и не такой определенный — на этот мучительный вопрос? Конечно, нет!

Но что я мог сделать?

Я не мог предостеречь его от самого себя, потому что не мог сообщить ему о существовании ужаснейшего вопроса, на который он должен ответить своей жизнью. Хотел, должен был, — но не мог!

И, наконец, я решил: «Я должен поскорее покончить с этим делом. Мне нужен покой! Я не могу жить, не решив

этого вопроса! И прекрасно! Я его решу, но иным путем: умру — я! И изобретенная мною машина сослужит свою службу».

С этим намерением я подошел к шкатулке и положил обе руки на ее крышку. Когда я хотел приподнять ее, я услышал в комнате, смежной с моей, шаги. Это были знакомые мне шаги...

Я быстро встал на ноги и в дверях встретил Альваро, в сопровождении его любимой и не отходившей от него обезьянки — Жанны.

Он был в хорошем расположении духа, говорил много, весело и громко, и вовсе не замечал моей холодности и рассеенности.

Он заметил подушки на полу и добродушно стал вышучивать мою неряшливость. Он подошел поближе и тут в первый раз увидел прелестную шкатулку с прекрасно нарисованным на ее крышке видом.

— Чья это работа? — спросил он. — Я его, вероятно, знаю и постараюсь по рисунку узнать имя художника.

И он немного нагнулся.

У меня на лбу выступили крупные капли пота.

— Это... — глухим голосом, заикаясь, начал я с намерением предупредить его не открывать шкатулки. — Это... это... я так себе поставил... Крышка... не дотрагивайся до нее...

— Что? — спросил Альваро. — Это ты, должно быть, рисовал? Ну, сознайся же, Карл, это — твоя работа?

Он быстро пригнулся к шкатулке и стал на одно колено.

От ужаса все у меня в голове перемешалось. Я не мог тронуться с места, не мог говорить. Я смутно слышал, больше видел, что Альваро говорил мне что-то, но слов я не разобрал. Ко мне донесся только шум, и он казался мне почему-то похожим на встревоженный шепот отдаленной толпы.

Но видел я прекрасно и, о ужас! с какой ясностью! Я не мог оторвать от него глаз. Я видел, как его руки легли на шкатулку, видел, как Альваро взялся ими за края крышки...

И меня со всей страшной силой охватило прежнее желание. Оно меня пересилило, и я ждал — мне секунды казались часами — ждал разрешения сатанинской проблемы.

Ах, этот ужас ожидания! Я не дышал, кровь остановилась в моих жилах, глаза, казалось, хотели выскочить из своих орбит.

Руки Альваро стали медленно поднимать крышку шкапулки...

А я стоял, как пригвожденный...

Я хотел крикнуть ему, хотел подбежать и оттащить его от этой смертоносной игрушки, но я не мог сделать ни того, ни другого. Я стоял, точно внезапно разбитый параличем, не мог двинуть ни одним членом, и только глаза... глаза... ими я владел свободно, даже слишком свободно.

Выше и выше поднимается крышка, вот она уже почти касается степы...

Боже мой! Неужели мой механизм не действует? Отчего это так медленно происходит?

Наконец, я услышал шум — страшный свистящий шум, который я, вернее, не услышал, а почувствовал.

— Вур-р-р-ш...

Кривая сабля описывала свой роковой полукруг.

Я видел, как голова плавно и без шума упала на подушки, и постарался заглянуть ей в глаза. Наши взгляды встретились...

По гневному блеску его глаз, по выражению вопроса, который светился в них, я при первом же взгляде убедился, что в этом уродливом предмете — окровавленной, отделенной от туловища голове — живет сознание, воля...

Первое выражение было вопросительное, но оно сейчас же исчезло, без сомнения, от вида моих далеко уже не испуганных глаз. С вопроса оно перешло на гнев. Глаза горели, металы молнии, расширились и, наконец, устремили на меня полный немого упрека взгляд.

Но тут произошло нечто ужасное.

Тело осталось на том же месте, но силой удара его немножко опрокинуло в сторону, так что оно находилось почти в сидячем положении.

Глаза головы с меня перешли на тело, и я, стараясь проследить их взгляд, посмотрел по тому же направлению. И меня вдруг охватил такой ужас, для выражения которого я не могу подобрать подходящих слов.

Я увидел следующее.

Правая рука окровавленного, обезглавленного тела вдруг начала подниматься!

Я весь задрожал и, не будучи в состоянии стоять на ногах, бессознательно опустился на колени, но глаза мои не отрывались от руки, которая медленно, но уверенно поднималась.

И когда она поднялась, эта длинная, белая рука с ярко блестящим бриллиантом на мизинце, когда она поднялась в уровень с моим лицом, указательный палец отделился и указал на меня — указал прямо в мое страшное, искаженное от ужаса лицо...

Безглавое тело указывало на своего убийцу!

Сколько времени рука оставалась в этом положении, — прямая, неподвижная, угрожающая, — я не знаю, для меня это время показалось вечностью.

И когда она, наконец, опустилась, я почувствовал не только облегчение, но как бы счастье, как будто я избавился от грозившей мне опасности, как будто освободился от лежавшей на мне невероятной тяжести.

Я посмотрел на голову — глаза были закрыты. Сознание, очевидно, умерло в ней. Предо мной лежали мертвая голова и мертвое тело.

Через несколько мгновений я, ослабев от пережитого волнения, в изнеможении опустился па пол и впал в глубокий обморок.

Уже начало светать, когда я очнулся.

Я быстро вскочил и испуганно начал оглядываться, чтобы убедиться, не было ли все это дурным сном. Окровавленные подушки и лежавшие на них предметы свидетельствовали об ужасной действительности.

Я сел на софу и задумался.

Вопрос, который раньше так мучил меня и который теперь уже отошел на задний план, был решен. Сознание, во-

ля и работа мысли не только не утрачиваются мозгом после отделения головы от туловища, но он на некоторое время сохраняет даже власть над отделенной от него частью.

Дело сделано, теория блестяще доказана... Что же дальше? Мне оставалось лишь одно: уничтожить все следы мертвого тела и отвлечь от себя все подозрения.

Для этого у меня уже давно все было готово: я обладал средством, с помощью которого можно было уничтожить тело, не оставив от него ни малейшего следа, посредством химического процесса, известного весьма немногим, без каких-либо горючих материалов, без огня и даже без остатка золы, которая могла бы меня выдать.

Я приготовил кислоты и все прочее, что к этому требовалось, подавил в себе чувства отвращения и ужаса, которые меня охватили, и принялся за работу.

Подушки, забрызганные кровью, я сжег. Тело, для того, чтобы не осталось от него никаких остатков, я должен был разрезать на несколько частей. Голова же могла быть уничтожена целиком, что и было сделано мной в несколько минут.

Я вздохнул спокойнее, когда ее не стало. Лицо мертвеца страшно действует на убийцу. Главное было сделано: головы уже не было, а уничтожить остальное не представляло для меня особенной трудности.

Я приступил к телу, отрезал правую руку и уже хотел положить ее в приготовленный состав, как вспомнил, что раньше нужно снять платье. Мой состав обладал свойством растворять только мясо и кости, а всякие посторонние вещества только мешали правильному ходу процесса. Огонь уже потухал, и я должен был спешить.

Наконец, все было сожжено, и я, нервный, возбужденный и страшно усталый, опять вернулся к телу. Я совсем ослабел и душой, и телом и, чтобы отогнать нахлынувшие ужасные мысли, постарался увлечься работой и пошел за отрезанной раньше рукой. Но я ее не видел. Где я мог ее оставить? Неужели уже уничтожил? Я не мог вспомнить. Да, вероятно, это так. И я взялся за остальные части.

Но я не буду вас вводить во все подробности моей бесчеловечной работы. Скажу вам только, что мне все удалось сделать. Ни малейшего следа не осталось от этого молодого, цветущего, благородного человека. «Ни малейшего следа!» — думал я с дикой радостью.

И с каким удовольствием я, наконец, открыл дверь! Как приятно было чувствовать прикосновение холодного воздуха к моему лихорадочно горящему лицу, как успокоительно действовало это ровным, спокойным сиянием светящее солнце!

Но когда я совсем раскрыл дверь, что-то быстро пробежало мимо меня.

Это был какой-то зверек. Да, это была маленькая обезьяна Жанна, которая всегда так боялась меня. Ее присутствия я не заметил или забыл.

Жанна, которая теперь больше, чем всегда, боялась меня, быстро проскользнула и, как стрела, пустилась бежать к дому своего умершего господина.

Господа, больше, кажется, мне нечего вам рассказывать. Вы из следствия знаете, как с этого времени я стал бояться одиночества и, мучимый угрызениями совести, стал постоянно искать общества своих знакомых: вы знаете, что в тот злосчастный день, когда я сидел с моими приятелями и вместе с ними выражал свои догадки и предположения по поводу внезапного исчезновения нашего общего приятеля Альваро, на стол вдруг, с оскаленными зубами, вскочила обезьяна, держа перед моими глазами страшный предмет, при виде которого мы все остолбенели. Но, мне кажется, никто из остальных не мог пережить и десятой доли того ужаса, какой в этот момент пережил я.

Предмет, который она держала, была рука — рука с надетым на мизинце кольцом Альваро.

Не все ли я вам рассказал? Не все ли объяснил? Вы молчите, вы немые от ужаса, — но думаете ли вы еще и теперь,

что я действовал не в своем уме? Вы не отвечаете... вы меня пугаетесь... вы не можете взглянуть на меня! Но скажите мне, по крайней мере, — разве я не заслуживаю смерти?..

[Без подписи]

КРОВАВЫЙ ГАЛСТУК

На морском берегу, во время купаний, я познакомился с молодым человеком, носившим знаменитое имя, полное славных воспоминаний, полуитальянское, полуиспанское — Рамирес де Овио-Эсфорция. Но все называли его между собой сокращенно — Фабри. Станный контраст представляло громкое и героическое имя Фабри с его особой. Это был жалкий, слабый, малокровный субъект с женственной наружностью, со светлыми и прозрачными, как вода, глазами, с удивительно нежным характером. Врачи советовали ему жить на морском берегу, дышать здоровым воздухом, насыщаться морскими солями. Фабри тщательно следовал этим советам и повторял: «Что вы хотите, господа! Я сирота, никого не имею, кто бы обо мне заботился, и должен заботиться о себе сам».

Молодой аристократ мне очень понравился, и мы вместе с ним купались, завтракали и гуляли. Я заметил в Фабри одну странность, которая пробудила мой инстинкт наблюдателя. Раздеваясь, чтобы войти в воду, он ни на одну минуту не открывал шеи и обвязывал ее всегда широким белым платком, который он с величайшей осторожностью заменял другим, когда выходил из воды. Крахмальные воротнички его сорочек поднимались до ушей и, хотя некоторые считали это особым шиком, но я ставил это в связь с платком, подозревая, что он желает скрыть следы золотухи. Съедаемый любопытством, я однажды под предлогом вернуть его в простыню устроил так, что платок остался в моих руках и открыл шею моего приятеля...

Он испустил стон, точно я дотронулся до открытой раны, а я с трудом удержал восклицание — так страшно было то, что я увидел! На фоне мертвенно-бледных плеч и груди резко обозначалась вокруг шеи широкая кровавая полоса с неровными краями, похожими на след, который мог бы оставить нож, отделяя голову от туловища. Казалось, что после удара голову опять приставили и при малейшем движении она упадет на землю. Я не мог себе отдать отчета в том, что это такое, и остолбенел при виде этого ужасного знака. Фабри закрывался дрожащими руками, а я все еще оставался недвижим — ужас сковал мне язык. Наконец, я обрел

вновь дар слова и рассыпался в столь искренних и сердечных извинениях, что бедный юноша мог на них только ответить дружескими объятиями.

Вслед за этим Фабри рассказал мне все, потому что сердцу нелегко переносить тягость некоторых тайн. Вечером мы сидели на береговом утесе в одинокой и дикой местности, и к зловещему шуму прибоя примешивался голос Фабри, рассказывавшего мне повесть кровавого знака.

— После пяти лет бездетного супружества, — начал он, — родители мои потеряли надежду иметь детей. Врачи приписывали это сложению моей матери, болезненной, нервной и экзальтированно-впечатлительной. Они советовали ей для укрепления <здоровья> побольше пожить в деревне, вставать рано, ложиться с петухами, много есть, ходить пешком и избегать всякого рода волнений. Опаснее всего для нее были волнения! Чтобы предоставить ей полнейшее спокойствие, мой отец решил не сопутствовать ей в имение Кастильбермехо, которое было избрано для ее местопребывания вследствие красоты местоположения и целебных свойств воздуха, а также и потому, что семья управляющего, — люди честные и преданные, — должна была заботиться о синьоре и служить ей.

— Мне нравится Кастильбермехо, — предупредил отец, — потому что, хотя в XV и XVI веках это была крепость, но после перестройки она превратилась в большой, удобный и мирный дом. Там не осталось и следа жестоких времен, кроме разве истории о голове, которую я считаю простой выдумкой.

— О голове? — спросила моя мать с любопытством. — Какой голове?

— Да это сказка, — поспешил сказать отец, уже раскаяваясь, — я был в Кастильбермехо в раннем детстве и почти не помню .ее.

Она настаивала, и мой отец нехотя рассказал ей некоторые подробности.

— Говорят, что в доме находится сундук из красной кожи, в котором лежит голова одного из наших предков — Эсфорци, обезглавленного в Италии в XVI веке за то, что

отравил свою собственную мать — Бланку Висконти. Глупости, болтовня! Вот ты уж и побледнела, голубка. О такой ерунде нечего говорить!..

Она успокоилась. Все забыли про это, и мать моя уехала, наконец, в Кастильбермехо. Она почувствовала себя удивительно хорошо уже в первые дни пребывания там. Впоследствии бедняжка признавалась, что под влиянием деревенского покоя она совсем не думала о голове предка, хотя рассказ отца гвоздем засел в ее горячем воображении. Свежий воздух, солнце, мир и тишина местности, парное молоко, плоды и спокойный сон, заботливость и ласковая приветливость семьи управляющего так хорошо на нее подействовали, что лицо ее приобрело румянец, она начала чувствовать аппетит и к ней вернулась прежняя веселость. Вместе с тем, под влиянием одиночества и отсутствия забот, занятий и развлечений, в возбужденном воображении матери снова зародилась мысль об отрезанной голове и неотступно стала занимать ее днем и ночью, особенно ночью. Она видела эту голову во сне истекающей кровью и, дрожа, просыпалась, точно привидение ее трогало холодной рукой. Сознавая, как женщина благоразумная, что призраков не существует, она ни слова не говорила об этом окружающим и не спрашивала про кожаный сундук, чтобы не выдать своих сомнений и тревог. Были минуты, когда она была уверена, что все это — смешная сказка. Наконец, она решила перерыть весь дом, чтобы или подтвердить, или рассеять свои страхи.

Она сама не знала, желала ли она или боялась найти голову. Может быть, для нее было бы разочарованием не найти сундука...

Под предлогом генеральной уборки она перевернула дом сверху донизу, перерывая чердаки, подвалы и даже винные погреба, но сундук не находился. Когда она, наконец, устала от бесплодных поисков, она получила письмо от отца, извещавшего ее, что он приедет в деревню на неделю. Мать повеселела, забыла тотчас же все свои страхи и начала устранивать и переставлять мебель в громадной комнате, служившей ей спальней. Она принесла из сада цветы и принялась

убирать стенные шкафы, занимавшие одну сторону комнаты. На нижних полках лежали различные предметы, покрытые плесенью и сыростью, охотничьи фляжки, старинное оружие, пожелтевшие бумаги. Дочь управляющего, вскарабкавшись на лестницу, вытаскивала сверху разную старинную посуду и вдруг воскликнула:

— Здесь еще что-то вроде ящика. Снять его?

— Снимите, — приказала мать моя, протягивая руки и бережно принимая довольно большой ящик, ободранный, потемневший, окованный ржавым железом. Крышка ящика еле держалась на петлях, сдвинулась и открыла внутри предмет отвратительный и ужасный — отрезанную голову, совершенно высохшую, но сохранившую часть волос и все зубы.

Вы можете себя представить то нервное потрясение, которое испытала моя мать. Загадку, которую она искала по всему дому, она нашла вблизи себя, в своей комнате, в двух шагах от постели, в единственном месте, которое она еще не успела осмотреть! Когда мой отец приехал, он застал ее в сильнейшем нервном припадке. Ценой неуспынных и нежных забот он достиг того, что она немного поправилась, и он смог ее увезти из Кастильбермехо. Через десять месяцев родился я с тем знаком, который вы видели.

Фабри умолк, а я его спросил с состраданием:

— А мать ваша?

— От нее не могли скрыть этого знака. Это стало ее гибелью, потрясло ее мозг... Она умерла в доме умалишенных...

[Без подписи]

ЗВЕРЬ

(Факт)

Он стоял у окна, спокойный, хладнокровный, устремив взгляд на горевшую газовую лампу.

В призрачном красноватом освещении комнаты, оклеенной темно-красными обоями, она казалась неподвижным изваянием в своем плотно облегающем фигуру черном шелковом платье, с бледным лицом, оттененным пышными черными волосами.

Когда он попросил ее передать ему сигары, — ее рука сильно дрожала.

Он заметил это и понял, что ей известно все. Глаза ее, широко раскрытые, неморгающие глаза были устремлены на красивое, холодное лицо, на высокую, стройную фигуру стоявшего у стола человека. Ее мозг грызла одна ужасная мысль: «Он обманул меня, обманул!»

Вероятно, он угадал ее мысли, потому что вдруг высоко и вызывающе поднял голову, и злобная усмешка искривила его широкие звериные челюсти. При виде этой усмешки в молодой женщине закипела дикая ярость. Сердце ее, казалось, хотело выпрыгнуть из груди. На минуту ей показалось, что оно, — это беспокойное страдающее сердце — вылетело из груди и носилось где-то высоко над ними и потом, дрожа и обливаясь кровью, повисло в воздухе, что теперь в груди ее воцарилась вечная пустота.

Вдруг у нее вырвался вопль: ведь он знает, что он ее обманывает, с давних пор, систематически и с большим искусством. Разве ей нужно знать все подробности? Зачем же она ему нужна, если покинута им, если у него есть другая... Она уйдет и уйдет охотно!

— Об уходе не может быть речи, — возразил он, — она сама совсем не нужна ему, нужна лишь ее красота, грация, главное, линии ее тела! Особенно в этом черном, плотно облегающем тело шелковом платье!

— Итак, ты любишь мое тело?

— Понятно, весьма понятно, сокровище мое! — прозвучал холодно и насмешливо его голос, тогда как его взор был по-прежнему устремлен на лампу.

Она почувствовала, что сердце ее упало и разбилось, и сразу очнулась от дикого прилива ярости. Нет, она будет спо-

койнее, будет холодна, как лед, покорна, как побитая собака. Надо подумать и решить...

Она спокойно вышла из комнаты, как будто бы ничего не случилось. Но едва успела перешагнуть порог, как все в ней закипело... забушевало... Порывистым движением бросилась она в кладовую, взяла с полки большую жестянку с керосином и вылила некоторое количество на свои волосы. Как было противно ей, когда струйки керосина полились с волос по платю и по всему телу! Она задыхалась от запаха керосина. Но сейчас же вернулась обратно в комнату. Он стоял, по-прежнему хладнокровно смотря на лампу.

Молодая женщина зажгла спичку и положила ее к себе на колени.

С минуту стояла мертвая тишина. Потом, охваченная страхом смерти, она закричала:

— Подлец, ты! Ты должен вспомнить обо мне, когда будешь в объятиях другой женщины! О, негодяй!

Лицо его сильно побледнело.

Она запаталась. Воля покинула ее. Словно огненная ракета, бегала она и кружилась около стола. За ней следовала полоса огня. Загорелись занавесы, ковры, портьеры. Ужасное зрелище поразило его. В нем проснулся художник.

— Быстрее! Быстрее! — кричал он ей. — Быстрее вертись!

И когда несчастная женщина, как безумная, завертелась молчком в своем огненном платье, он с восторгом кричал:

— Вот эти линии! О, какие линии! Танцуй! Танцуй же!

Он пел, кричал, смеялся.

— О, восторг, какая красота линий! Какие линии!

Все было кончено. Невыносимая боль лишила ее чувств. Она упала навзничь, несколько раз еще приподняла голову, окруженную кольцом огня, и потом исчезла в пламени.

Удушливый чад и запах гари привел его в себя. Он отошел от стола и сейчас же телефонировал, чтобы вызвать пожарную команду и санитарную карету.

Фернан Дакр

МЕСТЬ КОНТРАБАНДИСТА

Прежде, чем войти в кабачок, одиноко стоящий у самой дороги, мокрой и блестящей от дождя, он быстро оглянулся вправо и влево. Нигде ни души!.. Момент выбран удачный. Он вошел. Но все же весь дрожал, переступая порог.

Толстая старуха, сидевшая за прилавком, ничего не заметила. Она знала в лицо этого человека, еще недавно работавшего у нее в доме вместе с местными каменщиками. Правда, вид у него был не внушавший доверия, но мало ли тут шатается всякого сброда? Кабачок стоял неподалеку от бельгийской границы, и тетка Ферстрене давно уже перестала вглядываться в лица своих случайных гостей.

Она подала ему рюмку абсента и, усевшись на прежнее место, неподалеку от входа, принялась опять за штопку чулка, оседлав нос большими очками.

— Вы что же — совсем одни здесь?— хриплым голосом спросил посетитель. И опять вздрогнул, и опять она того не заметила.

— Ну да, — а что?

— А сын ваш где же?

— Нету его дома.

Говоря это, она вздохнула. И гость тоже вздохнул, — с облегчением. Потому что Ферстрене был огромный детина, страшно вспыльчивый, мстительный и, вдобавок, задира — чуть что, и лезет в драку. Его боялись по всей округе. Одна только старуха-мать знала, с каким обожанием, с какой трогательной любовью относится к ней ее «шатуший» сын, на которого она потратила столько денег, напрасно силясь сделать из него человека. А он, вместо того, сделался контрабандистом — сколько раз в тюрьме сиживал! — и сейчас вынужден был бежать в Бельгию, так как его тянут к суду за убийство товарища в драке.

Бродяга с напускной развязностью — хотя колени его тряслись и подгибались — еще раз подошел к двери и выглянул... По черному, как сажа, небу бежали фиолетовые тучи; дорога, блестящая от луж, была пустынна — нигде ни души. Пора — теперь самое время. Чтобы придать себе храбрости, он единым духом осушил свой стаканчик, припоминая все, что толкнуло его на это «дело»: позади нищета и

тюрьма, а тут, под рукой — битком набитый несгораемый шкаф, и наверху другой, в который ему случайно удалось заглянуть, когда они тут переключивали печку.

Тяп! Тяжелый молоток стукнул по седой голове, пробил ее насквозь, вошел глубоко. Пришлось сделать усилие, чтобы вытащить его. окровавленный, вместе с вырванными волосами... Под неожиданным ударом голова старухи сразу клюнула носом, ударившись о рыхлую грудь, из которой не успел вырваться крик. Руки взметнулись кверху, лоя пустоту, тело свалилось со стула и осталось лежать бесформенным, рыхлым комком, прикрытым серой и черной материями. Комок этот шевелился и стонал... Широкая спина вздрагивала. Помертвевший от страха убийца кинулся на эту широкую дряблую спину, впился ногтями левой руки в жирную и правой принялся яростно наносить удары по черепу с удесятеренной силой, каждый раз пробивая кость и глубоко вонзая оружие:

...Тело уже не шевелилось больше. Голова превратилась в какую-то кашу. Еще раз посмотреть — не идет ли кто? Нет, никого! Положительно, ему везет. А все-таки, надо торопиться... Тем же окровавленным молотком, на котором налипли кровь, волосы и еще что-то серое, он отбил замок у кассы и выбрал оттуда все дочиста своими жадными, крючковатыми пальцами. Потом, перепрыгивая через четыре ступеньки зараз, побежал наверх. Он уже забыл о своей жертве: эти деньги, звеневшие у него в кармане, должны были изменить всю его жизнь.

В то время, как убийца наверху взламывал несгораемый шкаф, другой человек, осторожно подошедший к дому сзади, крадучись, обходил его, держась как можно ближе к стене. Потом так же осторожно вошел. И вдруг, с глухим криком, полным отчаяния и ярости: «Мама, мама!..» упал на колени перед бесчувственным телом в надежде, что в нем еще теплится искорка жизни. Но достаточно было одного

взгляда, чтобы убедиться, что единственное существо, к которому он питал человеческие чувства, утрачено для него навсегда. И поток отчаяния, чистый, как воды горного ключа, хлынул в его темную душу, и разбойник-контрабандист плакал, как малый ребенок, над трупом матери, глядя по лицу убитую. Но вдруг слезы его иссякли: лицо это еще не успело остыть — значит, она убита недавно, только что. Приди он пятью минутами раньше!.. Но, в таком случае, значит, и убийца неподалеку... Ну да — там, наверху, кто-то возится...

Не задумываясь, он устремился наверх. И на лестнице столкнулся с убийцей, который ополоумел от страха, заслышав стук его тяжелых сапог. Контрабандист одним ударом в живот сшиб его с ног и сдавил ему горло, — но не задушил. Он приберегал его для иной, лучшей мести... Не для того, конечно, чтобы свести его в участок и чтобы его потом судили. Контрабандист за ноги сволок наверх убийцу и в пять минут связал его по рукам и по ногам, заткнув ему рот толстым кляпом.

Так! Теперь, брат, не уйдешь! Ферстрене отер рукой пот со лба и громко выговорил:

— Ну, теперь за работу!

Прежде всего, чтобы не помешали, он запер в кабачке ставни и дверь, вывесив надпись: «З а п е р т о п о с л у ч а ю о т ь е з д а х о з я е в». Затем, осторожно взяв на руки тело убитой, снес ее наверх и положил на кровать, обливаясь слезами. Потом зажег возле нее все лампы и все свечи, какие только были в доме, и обрызгал все вокруг святой водой. Но тела покойницы не обмывал и глаз ее не закрывал, чтобы она могла видеть, как страшно он отомстит за нее.

Убийца, лежа связанный на полу, растерянно следил взглядом за каждым его движением. Он трясся весь, как в ознобе. С кляпом во рту ему было трудно дышать... В безумном страхе он спрашивал себя: что такое задумал с ним сделать Ферстрене? Зачем он, тяжело дыша от натуги, тащит сюда снизу эту огромную тяжелую лестницу?.. Но в это время контрабандист так пнул его ногой в лицо, что едва не вышиб ему глаза, а затем начал тыкать его ногами в бока,

приговаривая:

— Подлец, ты уколошил мою старуху!.. Ты не знал меня?.. Не знал меня, падаль?.. Ну, так узнаешь!

Схватив поперек туловища жалобно стонавшего убийцу, он положил его на лестницу и крепко привязал веревками. Затем перешел к более трудному. Надо было поставить лестницу над кроватью, слегка наклонив ее так, чтобы лицо убийцы приходилось над самым лицом убитой, всего лишь на расстоянии нескольких сантиметров.

Контрабандист был мастер на все руки и, вдобавок, сила у него была непомерная. При помощи молотка, крючков и огромных гвоздей он укрепил лестницу так, что один конец ее лежал на спинке кровати, а другой на выступе стены, над самым раздробленным черепом... Теперь все было готово. Ферстрене был уверен, что мать его будет отомщена...

Тогда он вернулся к убитой и долгим поцелуем прильнул к ее лбу, уже похолодевшему. Потом стал на колени и помолился за ее душу... А потом — ушел. Ведь нельзя же было ему оставаться, когда его разыскивают сыщики. Мать его похоронят другие... Сегодня же вечером, из Бельгии, он обо всем напишет здешнему мэру.

...И убийца остался один, лицом к лицу со своей жертвой...

Сначала он храбрился. Ведь ненадолго же этот кошмар... Кто-нибудь зайдет в кабачок, удивится, что внизу никого нет, поднимется наверх и освободит его... Надо только пережить себя, терпеть и ждать... Ну, отвернуться, закрыть глаза... Но при первой же попытке отдернуть голову он чуть не задохнулся: Ферстрене так ловко стянул ему шею, что он мог дышать, только держа голову прямо. Тогда он попробовал закрыть глаза. Черт возьми, ведь это же не трудно, стоит только захотеть... Но какая-то непреодолимая сила словно железными пальцами приподнимала его веки, заставляя его снова и снова глядеть в это бескровное лицо, искаженное предсмертным испугом, в эти выкатившиеся глаза, в которых застыл невыразимый ужас. И он смотрел... Его собственные зрачки расширились от страха... Он уже не мог

отвести глаз от этого труп... Он пожирал, он пил его глазами...

И вот ему почудилось, будто это искаженное смертью лицо дрогнуло, искривилось в гримасу. Под вздрагивающими отсветами, которые бросали на лицо горевшие свечи, мертвые губы зашевелились и прошептали: «Убийца, убийца!..» И это слово все время звенело в его ушах, как гроза, как заклинание...

Зубы его стучали, как кастаньеты. О, пусть придет полиция, жандармы, кто угодно, — только бы освободили его... Что такое человеческое правосудие в сравнении с этой адской мукой? Целый ад призраков, демонов окружил его и тащит к себе, а глаза убитой сковывают его волю, и он не в состоянии противиться им...

Вот разжались руки убитой, благоговеино сложенные на груди ее сыном, и властно зовут его: «Иди сюда!..» И он рвется из своих уз, повинувшись этому беспощадному зову... Но веревки впиваются в его шею и он, полузадушенный, откидывается назад, чтобы свободно вздохнуть. Но мертвые глаза опять зовут, и он снова и снова тянется, всем своим существом спеша на зов, на этот страшный призыв мертвеца.

А старуха ухмыляется, скалит зубы и своими руками, жирными и сильными, как у сына, хватает его за горло и душит, душит, то отпуская, чтобы он не задохся, то снова впиваясь ему в шею холодными пальцами. И так — час за часом...

И от этого нечеловеческого, сверхъестественного ужаса убийца глухо воет, как пес, чувствующий приближение смерти, как животное, которое медленно убивают...

Это длилось целую ночь и целый день. Когда на другой день, вечером, мэ, предупрежденный письмом контрабандиста, вместе с жандармами и понятыми вышибли дверь, они все похолодели от нечеловеческих воплей, наполняв-

ших дом. Потом они рассказывали, что подобного ужаса им никогда еще не доводилось видеть: посиневшая, мертвая старуха с окровавленным и раздробленным черепом и повисший над ней и полузадушенный человек с выкатившимися глазами, воющий все время страшным, жалобным, неумолкающим воем.

Этот вой умолк только на другой день, когда убийца умер в припадке буйного помешательства в лечебнице для умалишенных.

Поль Монферран

КРОВАВЫЙ ПОЕЗД

— Посторонитесь! Посторонитесь!

Начальник станции, служащие и носильщики суетливо бегут вдоль дебаркадера.

Пронзительный свисток прорезает воздух, и локомотив, зажженные фонари которого вдруг показываются в глубине крытого стеклом вокзала, с шумом и грохотом подкатывает.

Скрипят оси вагонов под действием тормозов. Поезд останавливается. Он только что составлен в депо и, забрав пассажиров, сейчас же отправиться из По в Биарриц.

— Подушки, одеяла! — выкрикивает мальчик с тележкой.

Пассажиры штурмуют вагоны, занимают места и, успокоившись, возвращаются к дверцам, чтобы проститься с провожающими, родными и друзьями.

Приподнявшись на цыпочки и задрав носик, подле вагона первого класса стоит молодая женщина и дает уезжающему мужу последние наставление:

— Не забудь написать мне или лучше пошли телеграмму... Да, да, телеграмму... Так я буду спокойнее... Не смейся, пожалуйста!.. Я кажусь тебе смешной? Что ж делать? Но я не могу отделаться от мысли об этом безумце, о котором пишут в газетах и который уж больше двух недель слоняется по всем железным дорогам!.. Что с того, что его никто не видел? Он соскакивает с поезда на полном ходу!.. Ты думаешь, что это басни?.. А изорванные в вагонах подушки, а изрешеченные пулями стены?.. Да, я отлично вижу, что ты один в купе... Но ведь он может вскочить на ходу...

— По вагонам! По вагонам! Сейчас отход!..

— До свидания, дорогой мой! Сейчас же по приезде телеграфируй! Слышишь? Я буду ждать!..

Поезд уже трогается, когда, запыхавшись, прибегает какой-то господин, расталкивает служащих, которые хотели удержать его, и молодая женщина видит, как незнакомец, вскочив на подножку вагона первого класса, исчезает в купе, где находится ее муж...

Проходит около получаса после отъезда из По. Оба пассажира, сидя в разных углах купе и укачиваемые мерным

ходом, дремлют, готовясь уснуть, когда внезапный толчок пробуждает их.

Запоздавший господин вскрикивает. Он нервничает. На лице выражение тревоги... Его руки дрожат...

— Вы испугались? — улыбаясь, спрашивает его спутник, которому он объясняет причину своего нервного состояния:

— Я не могу провести в вагоне ни одного часа без того, чтобы не думать о всевозможных катастрофах, — о порче линии, столкновениях, пожарах, о провале мостов и т. д. Когда у меня имеются спутники, еще куда ни шло, но когда я нахожусь в купе один, у меня бывают настоящие галлюцинации... Я ужасно страдаю...

— Да что вы? Неужели?

— Уверю вас! Я говорю вполне серьезно. Самую страшную галлюцинацию я испытал несколько месяцев тому назад. Я ночью отправлялся в Нанси и был совершенно один в купе без бокового кулуара, как вот сейчас. И вдруг мне пришла в голову мысль, что если бы сейчас передо мной вырос спрятавшийся где-либо разбойник, я был бы совершенно беспомощен и ниоткуда не мог бы ждать защиты... Постепенно моя тревога становилась все более сильной и наконец перешла в уверенность... Я убедился, что какой-то человек спрятался под диван... И это был один из тех железнодорожных мазуриков, которые усыпляют свои жертвы хлороформом, оглушают их с помощью мешка, наполненного песком, обируют их и выбрасывают на рельсы, где встречный поезд превращает их в клочья...

Незнакомца начинает лихорадить. Его глаза горят; рот перекашивается.

Мужу молодой женщины становится не по себе; он не может вынести пристального взгляда своего собеседника, который ни на секунду не сводит с него глаз.

Поезд продолжает мчаться. Стекла дребезжат от толчков и падающего дождя... Локомотив издает долгий, протяжный свист, на который откуда-то издалека доносится в ответ другой, такой же пронзительный и протяжный...

Незнакомец наклоняется и, подняв палец, рычит:

— И таких злоумышленников больше, чем думают, —

особенно близ крупных курортов... Но их никогда не удается арестовать, так как они не оставляют по себе никаких следов, вскакивают в поезда на ходу и точно так же, подобно теням, исчезают...

— Будем надеяться, что эти господа не помешают нам спать в эту ночь. Что касается меня, то я устал и, если вы позволите...

— Разумеется... Впрочем, я также сильно устал.

— И чтобы нам было удобнее, я спущу абажур.

Собеседники растягиваются на своих диванах. Вагон погружен почти в полнейший мрак, только слегка рассеиваемый узкой полоской прорезывающегося сквозь щелку света и мимолетными бликами от попадающихся по дороге сигнальных фонарей.

Незнакомец беспрестанно волнуется.

Его спутник не может уснуть и в такт стуку колес упорно повторяет про себя:

— Это безумец! Это безумец!..

Наконец, усталый и разбитый, он забывается... Из этого минутного забытья его выводит какой-то странный шорох. Он открывает глаза и различает в полумраке своего спутника, который, подперши голову рукой, с выражением ужаса на лице смотрит на пол, под диван.

С тысячей предосторожностей незнакомец соскальзывает с дивана, нагибается, проводит пальцем по падающей на пол полоске света...

— Помогите! На помощь!..

— Там... под диваном... Его потайной фонарь плохо закрыт... Этот луч света вырывается из него... А вот флакон с хлороформом... вот мешок с песком... Вот, вот... А!..

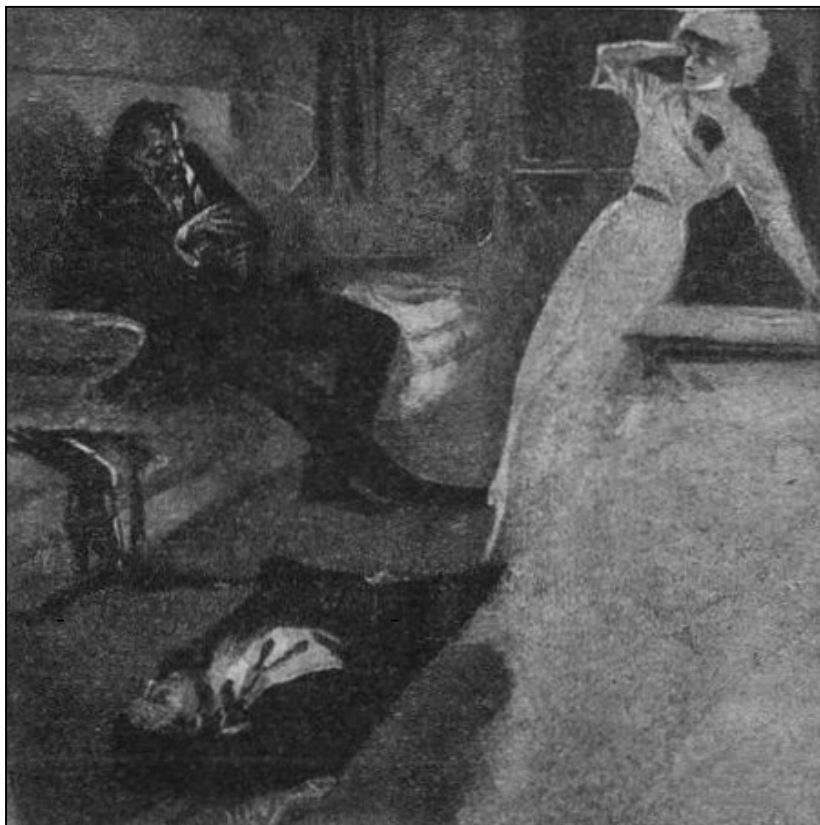
Тогда его спутник наклоняется к нему и, кладя руку на его плечо, шепчет:

— Тише... Замолчите... Не надо будить *его*...

Тут безумец вскакивает, набрасывается на несчастного, опрокидывает его на диван и, рыча от страха и бешенства, пытается задушить его, впивается зубами в его лицо...

Борющиеся сваливаются на пол... Раздается выстрел. И, когда безумец чувствует под собой неподвижное тело, он

выпрямляется и смотрит на свои влажные, липкие руки, покрытые кровью...



Свисток. Поезд замедляет ход, останавливается... Купе открывается и туда входит молодая девушка... Поезд снова мчится... Вот он с грохотом пронесся по мосту...

Девушка раздвигает абажур... Из ее груди вырывается глухой крик, и она падает на пол... А насупротив своей жертвы, обезображенной и искусанной, безумец с окровавленной, как у охотничьего пса, пастью, что-то ворчит, поглаживая свой револьвер...

Оливер Фоксе

ВОСКОВОЙ МОГИЛЬЩИК

В помещении музея восковых фигур было темно.

Из окна на пустынную улицу выглядывали неподвижные фигуры «королей». В их глазах неприятно отражался свет фонаря.

Было около одиннадцати часов вечера, и касса оказалась уже закрытой, когда в комнату вошел Дик Прозеро.

На минуту он остановился в изумлении, потом вынул свои карманные часы. Они показывали половину одиннадцатого, но в то же время где-то пробило одиннадцать.

— Что за странность! — воскликнул он.

Прислушался — все было тихо.

— Ушла. А я-то надеялся узнать сегодня правду. За старика я спокоен, он всегда так мил со мной. Ну, пойду к ней. Верно, она еще не легла.

Он закурил папироску и прошел в коридор.

Свет фонарей на пустынной улице вдруг стал багровым и начал понемногу угасать. Широко открытые, безжизненные глаза кукол померкли вместе с ним. Где-то гулко прозвучали поспешные шаги и снова все погрузилось в молчание.

Но за помещением музея, в маленькой, слабо освещенной кухне, двое мужчин говорили громкими, раздраженными голосами:

— Так я недостаточно хорош для нее? — крикнул, злобно сверкая черными глазами, мужчина помоложе.

Хозяин отпил из стакана и кивнул косматой головой.

— Вы уж это слышали, — резко ответил он.

— Но в чем же дело? — волновался его собеседник, красивое лицо которого были искажено злобой.

— Слишком любите женщин, карты и кутежи. Сказал бы еще кое-что, да будет с вас. Не годитесь вы мне в зятя, вот и все!

— Может быть, вы предпочитаете этого идиота, который вечно вертится у вас в музее?

— Конечно, он богат и не такой мужлан, как ты.

— Вы думаете, что он женится на ней? — расхохотался Фармер.

Хозяин вскочил и ударил кулаком по столу.

— Молчи, — зарычал он, — молчи или я убью тебя...

Фармер подскочил к старику.

— Да кто ты сам-то? Твоя очаровательная дочь кончит на улице, как ее мать...

Мгновение — и Фармер лежал на земле среди осколков посуды. Но, несмотря на порезанную ногу, злоба придавала ему силы. Сквозь красный туман, заволакивавший ему глаза, он заметил железную палку, выпавшую из решетки у плиты. Вот уж она у него в руках и ее острый конец с быстротой молнии вонзается в широкий затылок старика.

Одного взгляда на противника было достаточно, чтобы убедиться, что он мертв.

Тяжелое тело лежало в луже крови и взгляд круглых серых глаз был неподвижен и туп.

Убийца сразу пришел в себя.

Как ему выйти сухим из этой истории? Все улики налицо. Надо удирать, пока не поздно. Но что делать с телом старика? Бросить его здесь? Но тогда могут каждую минуту узнать о преступлении!.. Боже мой, как он глуп! Ведь старик теперь настоящая восковая кукла. Глаза точно стеклянные. Вот и отлично. Он стащит тело в музей, поставит его среди кукол и подожжет помещение.

Но вдруг на Фармера напало сомнение. Пожарное депо слишком близко; огонь потушат раньше, чем он сделает свое дело. Но надо же как-нибудь освободиться от «него». Надо! Но как? Как?

— Там какой-то господин желает вас видеть, сударыня. Виолет Хильтен быстро сбежала вниз по лестнице.

— Дик, ты?

— Прости меня, Ви, я опоздал. Но во всем виноваты мои часы — они опять отстают. Скажи, отпустит тебя отец завтра вечером в театр? Я хочу показать тебе замечательно интересную пьесу.

— Надеюсь. Его еще нет дома.

— Пойдем к нему навстречу. Хорошо?

Виолет побежала за шляпой и ее рыжеватые волосы блеснули медью на освещенной лестнице. Это обстоятельство не ускользнуло от Дика и еще больше утвердило его в намерении приступить, наконец, к серьезным разговорам. Через пять минут она вернулась и молодые люди пошли, взявшись под руку, по пустынной, темной улице.

— Мне придется обратиться к твоему отцу еще с одной просьбой, если ты позволишь, Ви.

Не дожидаясь ответа, он обнял молодую девушку и приник к ее губам.

Дик и Виолет стояли у дверей темного, объятаго молчанием дома.

— Люблю, люблю тебя, дорогая, — шептал Дик в экстазе, и восковым королям пришлось быть свидетелями долгих, горячих поцелуев.

Девушка открыла ключом дверь и шепнула, ему, уходя:

— Подожди минутку.

Из музея пахнуло запахом воска и старого платья.

— Иди, Дик, — раздался тихий голос Виолет, — никого нет.

Она осторожно провела его в кухню. Он зажег шипящий газ, осветивший лужу крови на полу и осколки посуды. Прозеро невольно вздрогнул. Виолет в ужасе схватила его за руку.

— Кровь, кровь, — закричала она хриплым голосом, — с папой — несчастье...

Ее рыжеватые волосы еще сильнее подчеркивали страшную бледность лица.

— Что это?

Откуда-то сверху раздался шум, похожий на звук падающего тела. Прозеро сжал кулаки.

— Кто-то есть наверху, — сказал он, направляясь к двери.

— Господин Хильтен, господин Хильтен...

Ответа не последовало. Слышалось только шипение газа.

— Должно быть, это просто кукла упала. Все же лучше пойти и взглянуть. Останься тут, Ви. Найдется здесь свеча?

Она подошла к полке и увидела, что подсвечника не было.

— Дик, я ничего не понимаю. Где же подсвечник? Я боюсь... с папой что-то случилось...

Прозеро поцеловал ее дрожащие губки.

— Успокойся, дорогая. Нет ли у тебя бутылки и свечки? Если станет очень жутко, ты позовешь меня.

Он решительными шагами вышел из комнаты, отворяя по дороге шкапы и заглядывая во все углы. Но вот «Комната ужасов». Сцена представляет страшное подземелье, в котором человек с черной бородкой копает могилу. Около него лежит окровавленный мешок. В него, очевидно, с трудом запрятали большое тело, голова которого вылезала наружу, вся перепачканная кровью, тараша круглые глаза,

«Во всем музее это самая реальная сцена», — подумал Прозеро. Вернувшись в кухню, он решительно заявил:

— Все благополучно, Ви. Мы одни. Но что с тобой, дитя?

В ее глазах было выражение такого ужаса, что он весь похолодел.

— Дик, — сказала она каким-то чужим голосом. — Отец дома. Я чувствую его присутствие.

— Но я все осмотрел, уверяю тебя.

— Он дома, я это чувствую...

Прозеро молча вышел из комнаты. Девушка по-прежнему сидела у стола, выжидая.

Время тянулось бесконечно. На этот раз Дик что-то задержался. Не было сил сидеть и ждать, сложа руки.

Виолет встала и, нащупывая руками дорогу, стала пробираться в музей.

Вот «Комната ужасов». Слабый, мерцающий свет с трудом позволял разобрать, что там делалось. Ее глазам представились все восковые чудовища вместе с черным могильщиком. А в углу, повернувшись спиной к двери, стоит Дик. Но что с ней? Почему ей так страшно? Разве она не видела

миллион раз этого могильщика? Но сегодня его фигура точно живая.

Вдруг Виолет застыла на месте. Могильщик тихо повернул голову и посмотрел через плечо на Дика. Все заволочлось черным туманом, земля уходила из-под ног Виолет. Нет, нет, нельзя распускаться. Она шагнула вперед.

Могильщик по-прежнему наклонялся над ямой. Конечно, все было игрой ее воображения. У нее просто-напросто расстроены нервы.

Пока она стояла в нерешительности, могильщик быстро обернулся и поднял заступ над головой стоявшего к нему спиной человека...

Душераздирающий крик Виолет спас несчастного. Он невольно отскочил и сторону и заступ ударил его только по плечу.

Виолет ураганом слетела вниз по лестнице и борющийся со своим противником Прозеро услышал протяжный полицейский свисток.

Силы оставляли Дика — его правая рука была почти парализована ударом заступа. Все же он не выпускал негодяя: победа или смерть!..

Вошедшие в комнату полицейские увидели Прозеро лежащим под Фармером. Его лицо почернело, но он крепко держал убийцу за горло, почти бессознательно напрягая последние силы.

Десять минут спустя Дик немного успокоился, а Фармера связали после отчаянной борьбы.

Виолет указала на мешок:

— Откройте, — шептали ее пересохшие губы.

— Вы бы лучше увели барышню, — посоветовал Дик полицейский.

Он взял ее за руку, но она отшатнулась от него.

— Откройте же! Или я сама...

И прежде, чем кто-либо успел остановить Виолет, она бросилась на колени перед мешком. Ее рука дернула веревку, затягивавшую его, и девушка увидела лицом к лицу окровавленную голову отца, круглые жуткие глаза. С тихим стоном повалилась она на мертвое тело...

Гастон Леру

УЖАСНАЯ ИСТОРИЯ

Капитан Мишель имел теперь только одну руку, которой он и пользовался, чтобы курить свою трубку. Это был старый «морской волк», с которым, равно как и с другими четырьмя такими же старыми моряками, я познакомился однажды вечером на веранде одного кафе в Тулоне. Мы приехали собираться здесь за стаканами, в каких-нибудь двух шагах от плескавшейся воды и пляшущих лодчонок, ежедневно на закате солнца.

Эти четыре «морских волка» звались Зензен, Дорá (капитан Дора), Багатель и Шолье (тот самый грубиян Шолье). Само собой разумеется, что они скитались по всем морям и побывали в тысяче передряг; и теперь, будучи на покое, убивали свое время за рассказами разных ужасных историй.

Только один капитан Мишель никогда ничего не рассказывал. А так как он делал вид, будто ничему не удивлялся из того, что слышал, эта манера под конец вывела прочих из терпения, и они ему сказали:

— Так что же, капитан Мишель, с вами уж так и не приключалось никогда никаких страшных случаев?

— Приключалось, — отвечал капитан, в первый раз на наших глазах вынимая изо рта свою трубку. — Приключилось один-единственный раз...

— Отлично! Рассказывайте же!

— Нет!

— Почему?

— Потому, что уж очень страшно! Вы не сможете выслушать. Я много раз пробовал рассказывать, но все разбегались раньше, чем я оканчивал.

Четыре старых «волка» покатались со смеху и заявили, что капитан Мишель просто выдумывает предлоги, чтобы ничего не рассказывать, потому что, по правде-то, с ним решительно ничего не случалось.

Тот с минуту смотрел на них, потом с внезапной решимостью положил свою трубку на стол. И уж один этот, такой резкий жест показался чем-то ужасным.

— Хорошо, господа, — заговорил он, — я расскажу вам, как я потерял свою руку.

В то время, — тому лет двадцать назад, — была у меня в Мурильоне небольшая, доставшаяся мне по наследству дачка; моя семья долгое время жила в этой местности, а я сам там и родился. И в этом домишке мне нравилось немного отдохнуть в промежутке между двумя дальними плаваниями. Я, впрочем, любил всю эту часть города, где мне спокойно жилось в соседстве с ненадоедливыми моряками или с редко показывавшимися колонистами, которые больше занимались со своими милашками спокойным покуриванием опиума или еще чем другим, до чего мне не было никакого дела... Да ведь и правда! У всякого свои привычки. Только бы не мешали моим, вот и все, что мне нужно...

И вот именно случилось так, что однажды ночью помешали моей привычке спать. Странный шум, происхождение которого я никак не мог себе представить, разбудил меня, как набат. Окно у меня, как всегда, оставлено было открытым. Ничего не понимая, я слышал какой-то удивительный шум, нечто вроде громовых раскатов и вроде барабанной дробы, но на необыкновенном барабане! Можно было подумать, что двести бесноватых колотили палками, но не по ослиной коже, а по какому-то деревянному барабану.

И это раздавалось с дачи напротив, которая уже пять лет как пустовала и на которой я еще накануне читал вывеску «Сдается в наем».

Из окна моей спальни во втором этаже взгляд мой поверх садовой ограды, окружавшей всю эту дачу, свободно различал все ее двери и окна, даже в первом этаже. И они были еще заперты, как я их видел накануне днем. Только сквозь скважины ставен первого этажа я различал свет. Что же это были за люди, которые забрались в это заброшенное на краю Мурильона жилище?.. Что за общество собралось в этом покинутом домике, чтобы затеять такой шаш?

Странный шум грома и деревянных барабанов не прекращался. Он продолжался еще с добрый час, а затем, когда уже стала заниматься заря, дверь дома растворилась, и на пороге ее появилась во весь рост такая волшебная красавица, какой я не видал во всю мою жизнь. Она была в баль-

ном туалете и с невыразимой грацией держала лампу, свет которой обливал ее божественные плечи. И с милой и спокойной улыбкой она проговорила следующие слова, которые я превосходно расслышал в ночной тишине:

— До свидания, мой друг, до будущего года!

Но кому же это она говорила? Я положительно не мог этого понять, так как никого не видел возле нее. И она еще несколько времени оставалась с лампой на пороге, пока садовая калитка сама не открылась и так же сама не затворилась. Тогда, в свою очередь, и дверь дачи затворилась, и больше я ничего не видел.

Я думал, что я схожу с ума или что я брежу, потому что я отлично сознавал, что было положительно невозможно, чтобы кто-нибудь мог незаметно для меня пройти через этот садик.

Я все еще находился перед моим окном, окаменев на одном месте и не будучи в силах шевельнуться или что-либо подумать, — как вдруг дверь дома растворилась вторично, и то же ослепительное создание появилось снова, по-прежнему с лампой и по-прежнему совершенно одна.

— Шш!.. — проговорила она. — Молчите вы все! Не надо будить соседа напротив. Я провожу вас.

И молча, и одиноко она прошла по саду и остановилась у калитки, на которую падал полный свет лампы, да так ярко, что я отчетливо видел, как дверная скобка повернулась сама, без всякого прикосновения какой-нибудь руки. Затем калитка отворилась еще раз перед этой женщиной, но она не проявила ни малейшего изумления. Нужно ли говорить, что я помещался так, что одновременно видел и площадку перед калиткой, и за ней, иначе говоря, находился почти как раз на ее оси.

Великолепное создание мило кивнуло головой по адресу ночной пустоты, которую ярко озарял свет ее лампы; затем она улыбнулась и еще раз сказала:

— Итак, до свидания! До будущего года! Мой муж очень доволен, что ни один из вас не пропустил приглашения. Прощайте, господа!

И тут я услышал несколько голосов, которые ответили

ей:

— Прощайте, сударыня! Прощайте, дорогая! До будущего года...

И, когда таинственная хозяйка собиралась сама затворить калитку, я еще услышал:

— Прошу вас, пожалуйста, не беспокойтесь!

И калитка опять затворилась совершенно одна.

На минуту воздух наполнился каким-то птичьим порханием... кюи... кюи... кюи... И только. словно эта красавица отворила клетку целой стаи воробьев.

Спокойно она отправилась к себе. Свет в первом этаже в это время погас, но я заметил проблески его во втором этаже.

Дойдя до дачи, дама проговорила:

— Ты уже поднялся, Жерар?

Ответа я совсем не расслышал, но двери дома заперлись, а через несколько времени свет погас и во втором этаже.

Было уже восемь часов утра, а я все еще стоял на том же месте, глупо смотря на этот сад и на эту дачу, где происходили в ночной темноте такие необыкновенные вещи, которые теперь мне представлялись в их самом обыкновенном виде: сад был пуст, а дача казалась такой же заброшенной, как накануне.

И это <было удивительно> до такой степени, что, когда я рассказал моей старухе-кухарке, в это время пришедшей, все те необычайные вещи, при которых я присутствовал, она постучала меня по лбу своим грязным пальцем и объявила, что я просто выкурил лишнюю трубку. А я никогда не курю опиума. И этот ответ только послужил мне решительным предлогом, чтобы выставить за дверь эту грязную судомойку, от которой я уже давно хотел отвязаться и которая у меня ежедневно два часа лишь разводила грязь. Впрочем, мне и не нужно было никого, так как наутро я должен был отправиться в плавание.

У меня оставалось ровно столько времени, чтобы собрать свой узел, сходить по делам, проститься с приятелями и сесть на поезд в Гавр, где меня уже ждала служба на одном океанском судне, ради которой мне пришлось расста-

ться с Тулоном на целых одиннадцать или двенадцать месяцев.

Когда я снова вернулся в Мурильон, я никому не заикнулся о моем приключении, но ни на минуту не переставал о нем думать. Меня всюду преследовал призрак «дамы с лампой» и в моих ушах не переставали звучать те последние слова, с которыми она обратилась к своим невидимым друзьям:

«Итак, до свидания! До будущего года».

И у меня из головы не выходило это свидание. Я тоже решил на него попасть и во что бы то ни стало раскрыть ключ этой тайны, которая до сумасшествия взвинтила такие честные мозги, как мои, не верящие ни в появление мертвецов, ни в таинственные корабли-призраки.

К сожалению, мне вскоре пришлось убедиться, что небо и ад были ровно ни при чем во всей этой ужасной истории.

Первое, что я сделал, вернувшись к себе, это подбежал к моему окошку во втором этаже и отворил его. Я сейчас же заметил (так как дело происходило летом и среди белого дня) женщину замечательной красоты, ходившую спокойно по саду и собиравшую цветы. На произведенный мной шум она подняла глаза. Это была «дама с лампой». Я ее признал. Она была так же красива и днем, как и ночью. Тело у нее было такое белое, как зубы у негра из Конго, а глаза синие, как Тамарийский рейд, и волосы светлые и мягкие, как самый тонкий шелк. Признаюсь, при виде этой женщины, о которой я мечтал целый год, сердце у меня всколыхнулось. Да, это не было бредом болезненного воображения. Она действительно, была предо мной как есть — с плотью и костями! А позади нее все окна дачи были открыты настежь и убраны цветами.

Фантастического во всем этом ничего не было.

И как только она меня заметила, сейчас же обнаружила неудовольствие. Пройдя еще несколько шагов по главной аллее садика, она вдруг, словно недоумевая, пожалала плечами и сказала:

— Вернемся, Жерар! Уже чувствуется вечерняя сырость.

Я оглядел весь сад. Но там никого не было, кому она мо-

гла бы это говорить. Решительно никого!

«Так что же это? Сумасшедшая она?» Но с виду этого про нее подумать было нельзя.

Я видел, как она направилась к своему дому, переступила порог, дверь за ней заперлась, и тут же она сама затворила все окна.

В эту ночь я не слышал решительно ничего особенного. На другой день утром я увидел мою соседку идущей в городском костюме через сад. Она заперла на ключ калитку и направилась по дороге в Тулон. Я тоже спустился вниз. Первому же встречному лавочнику я показал ее изящную фигуру и спросил, не знает ли он, кто эта дама. Он мне отвечал:

— Разумеется! Это же ваша соседка. Она с мужем живет в вилле Макоко. Они здесь поселились ровно год назад, как раз, когда вы уехали. Это — настоящие медведи. Никогда слова не скажут никому, исключая самое необходимое. Но вы знаете, в Мурильоне всякий живет, как хочет, и тут ничему не удивляются. Так и капитан...

— Какой капитан?

— Капитан Жерар. Да. Судя по всему, муж ее — отставной капитан морской пехоты. Так вот! Но его никогда не видно. Иной раз, когда к ним надо доставить провизию, а хозяйки нет дома, так слышишь, как он кричит из-за двери, чтобы все оставить у порога; а сам ждет, когда вы уйдете подальше и только тогда и возьмет принесенное.

Вы понимаете сами, что после этого я еще больше был заинтригован. Я отправился в Тулон, чтобы еще расспросить и архитектора, который сдал этим людям дачу. Но он тоже ни разу не видел мужа, хотя и знал, что звали его Жерар Бовизаж. Услышав это имя, я воскликнул:

— Жерар Бовизаж! Да я же его знаю! У меня был старый приятель с таким именем, и я его не видел уже лет двадцать пять; был он офицером колониальной пехоты и уехал из Тулона в Тонкин. Не может быть сомнения, что это он.

Во всяком случае, у меня был самый натуральный предлог, чтобы пойти и толкнуться в их дверь, и не позже, как

сегодня же вечером; а это был пресловутый вечер годовщины, когда он ждал своих друзей. И я решил пойти и тоже позвать ему руку.

На обратном пути в Мурильон я заметил на дороге, ведущей к даче Макоко, силуэт моей соседки. Ничуть не колеблясь, я ускорил шаги и поклонился ей:

— Сударыня, — заговорил я, — не с супругой ли капитана Жерара Бовизажа я имею честь говорить?

Она вспыхнула и хотела было молча пройти своей дорогой.

— Сударыня, — пристал я, — я — ваш сосед, капитан Мишель Альбан.

— Как! — воскликнула она. — Извините меня! Капитан Мишель Альбан... Мой муж мне много говорил о вас.

Она, видимо, была в ужасном смущении, но в своем замешательстве казалась еще красивее, если только это было возможно.

Вопреки ее явному желанию от меня отвязаться, я продолжал:

— Как же это так случилось, сударыня, что капитан Бовизаж, вернувшись во Францию и в Тулон, не дал о себе знать своему самому старинному другу? И я вам буду крайне признателен, если вы известите Жерара, что я приду его расцеловать сегодня же вечером.

Видя, что она ускоряет шаги, я раскланялся с ней, но, при последних моих словах, она в самом необъяснимом волнении обернулась ко мне и сказала:

— Это невозможно! Сегодня вечером это невозможно! Я вам обещаю рассказать Жерару о нашей встрече. Но это все, что я могу сделать. Жерар больше никого не желает видеть. Никого! Он уединился. Мы живем уединенно. Мы и эту дачу только потому и наняли, что нам сказали, что в соседнем доме бывает лишь раз или два в год на несколько дней человек, которого никогда не видно.

И вдруг особенно грустным тоном она добавила:

— Жерара нужно извинить... Мы никого решительно не видим. Прощайте!

— Сударыня, — заметил я ей, выйдя из себя, — господа Бовизаж принимают, однако, иногда друзей... И сегодня вечером, например, они ждут тех, кому назначено свидание год тому назад.

Она стала совсем пунцовой.

— Ах, это, — проговорила она. — Это — исключение! Это совсем исключительный случай. Это — друзья особенные...

И затем она побежала, но тут же остановилась и, обернувшись ко мне, умоляюще проговорила:

— А в особенности... в особенности не приходите сегодня вечером.

И она скрылась за оградой.

Вернувшись к себе, я принялся наблюдать за моими соседями. Но они совсем не показывались, и задолго до ночи я заметил, закрыли ставни, сквозь скважины которых заблестел свет, точь-в-точь, как я это видел в ту замечательную ночь год тому назад. Я только еще не слышал непонятого шума, похожего на раскаты грома и дробь деревянного барабана.

В семь часов, вспомнив о бальном туалете дамы, я стал одеваться. Последние же слова жены Жерара только еще более утвердили меня в моем решении. Раз Бовизаж принимает сегодня друзей, не посмеет же он выставить меня за дверь? И, надев фрак, я спустился вниз. На минуту я задумался, не взять ли с собой револьвер, но показался себе самому таким болваном, что оставил его на месте.

Болван я был, что не взял его.

У входа в виллу Макоко я наудачу повернул ручку калитки, ту самую ручку, которая год тому назад, я видел, поворачивалась сама. К моему большому изумлению, калитка поддалась. Значит, тут кого-то ждали. Поднявшись к дверям дома, я постучался.

— Войдите! — раздался голос.

Я сразу узнал голос Жерара. Весело я вошел в дом. Прежде всего у них шла прихожая. Затем, так как двери в маленькую гостиную были открыты и сама комната была освещена, то я, проникши и в нее, крикнул:

— Это — я, Жерар! Я — Мишель Альбан! Твой старин-

ный приятель...

— Ага. Ты таки решился прийти, старина! Ах ты, мой славный Мишель! А я только что еще говорил жене: «Вот его мне будет приятно опять увидеть!.. Но только его одного, с нашими особенными друзьями». А ты, знаешь, не очень переменялся, старина!

Невозможно передать вам все мое изумление. Я слышал Жерара, но не видел его. Голос его раздавался рядом со мной, но подле меня не было никого. Никого во всей комнате.

Голос заговорил снова:

— Садись! Моя жена сейчас придет. Она, наверное, вспомнит, что забыла меня на камине.

Я поднял голову... и тут я открыл, что высоко, очень высоко, на очень большом камине находился бюст.

Этот бюст и говорил со мной: он был похож на Жерара. Да, это был бюст Жерара. Помещался он там совсем так, как принято ставить бюсты на каминные. И это был бюст, совсем такой, как их делают скульпторы, то есть без рук.

Бюст мне говорил:

— Я не могу, мой милейший Мишель, тебя принять в свои объятия, потому что, как видишь, у меня их нет, но ты-то можешь взять меня в свои, если немного привстанешь, кстати, и снимешь меня на стол. Жена меня сюда засадила в минуту раздражения. Говорит, что я ей мешал убирать го-стиную. Она ведь у меня чудачка.

И бюст закатился хохотом.

Я все еще думал, что являюсь жертвой какого-нибудь оптического фокуса, какие показываются на ярмарках, где при помощи особенной игры зеркал тоже показывают живые бюсты, висающие в воздухе. Но после того, как, по просьбе моего друга, я снял его и поставил на стол, я убедился, что эта голова и туловище действительно составляли все, что осталось от того превосходного офицера, каким я его когда-то знал. Туловище непосредственно помещалось на маленькой тележке, какие в ходу у безногих, но у моего приятеля не было даже начатка ног, как это обычно бывает. Говорю вам, это буквально был бюст!..

Руки у него заменялись какими-то крючками, и я не мо-

гу объяснить, как ухитрился он, опираясь то на один крючок, то на другой, прыгать, скакать, кататься, словом, совершать, посмеиваясь себе в бороду, сотни быстрых движений, бросавших его со стола на стул, со стула на пол и вдруг внезапно снова на стол. Ему видимо, было очень весело.

Что касается меня, то я был ошеломлен и не мог вымолвить ни слова, глядя, как этот выкидыш выделявал свои пируэты, а в особенности, когда он со своей беспокойной развязностью спросил меня:

— А что, я сильно переменялся? Признайся, ты меня не узнал, старина. А ты хорошо сделал, что пришел сегодня вечером... Позабавимся мы... У нас сегодня будут особенные друзья... Потому что, знаешь ли, за исключением их... я больше никого не хочу видеть... из самолюбия. Мы даже не держим прислуги. Но подожди меня здесь. Я пойду надену смокинг.

Он исчез, и тут же появилась «дама с лампой». На ней был тот самый парадный туалет, как в прошлом году. Как только она меня заметила, то особенно смутилась и глухим голосом проговорила:

— Ах, вы все-таки пришли... Нехорошо вы сделали, капитан Мишель. Я передала ваше приветствие мужу, но я запретила вам приходить сегодня вечером. Надо вам сказать, когда я ему сообщила, что вы здесь, он даже поручил мне пригласить вас на сегодняшний вечер, но я этого не делала, потому что, — добавила она с очень смущенным видом, — у меня на это есть свои основания. У нас друзья особенные, они иногда бывают стеснительны. Да, они любят пошуметь, погрометь. Вы должны были это слышать в прошлом году, — добавила она, скользнув по мне загадочным взглядом. — Так вот... Обещайте мне уйти раньше...

— Это я вам обещаю, сударыня. — От этих слов, всего смысла которых я не мог понять, мной стало овладевать какое-то странное беспокойство. — Я вам это обещаю, но не можете ли вы мне рассказать, как случилось, что я застал ныне моего друга в таком виде? Что за ужасное несчастье с ним произошло?

— Никакого! Решительно никакого!

— Как никакого? Вам неизвестен тот случай, при котором он лишился своих рук и ног? А эта катастрофа, между тем, должно быть, произошла уже после вашей свадьбы?

— Нет, нет. Я вышла за капитана, когда он был таким, как теперь. Но извините меня. Должны скоро прибыть наши приглашенные, и мне надо помочь мужу надеть смокинг.

И она меня оставила одного с единственной ошеломляющей мыслью, что она «вышла за капитана, когда он уже был таким, как теперь». Но почти в ту же минуту до меня донесся из прихожей этот любопытный шум — «кюи», «кюи», «кюи» — который я не мог объяснить себе год тому назад и который сопровождал «даму с лампой» до садовой калитки. За шумом этим последовало появление четырех безногих и безруких на тележках, уставивших на меня свои изумленные взгляды. Все они были одеты по-бальному и были очень представительны с их ослепительно белыми пластронами сорочек. Один из них был в золотом пенсне; другой, старик, носил очки; третий был с моноклем; а четвертый, чтобы с досадой смотреть на меня, довольствовался своими собственными умными, вызывающими глазами. Но все четверо приветствовали, однако, меня своими крючками и спросили, как поживает капитан Жерар. Я ответил им, что господин Жерар одевается и что госпожа Жерар тоже чувствует себя хорошо. Но когда я таким образом взял на себя смелость заговорить и о госпоже Жерар, то уловил, как они обменялись между собой насмешливыми взглядами.

— М... гм! — отозвался безногий с моноклем. — Вы, должно быть, большой друг нашего милейшего капитана?

Остальные начали неприятно улыбаться... Затем они заговорили все четверо сразу:

— Но вы извините! Удивление наше вполне естественно. Мы встретили вас у этого добряка-капитана, который поклялся в день своей свадьбы уединиться со своей женой в деревне и больше никого у себя не принимать, никого, за исключением своих особенных друзей... Вы понимаете? Когда оказываешься безногим до такой степени, как пожелал быть этот милейший капитан, и когда женишься на такой красивой особе, то это вполне естественно, совершенно ес-

тественно. Но, в конце концов, если он встретил в жизни честного человека не из числа безногих, то тем лучше... Тем лучше...

И они принялись повторять: «Тем лучше», «О, тем лучше», «Мы поздравляем...»

Боже, какие они были странные, эти гномы. Я смотрел на них и ни слова не говорил. А за ними прибывали другие... парами, потом тройками... затем еще. И все смотрели на меня с изумлением, с беспокойством или с иронией. А я был совершенно выбит из колеи при виде стольких безногих. И хотя я, наконец, начал теперь проникать в большую часть загадок, которые так взбудоражили мои мозги, и хотя весьма многое объяснилось присутствием безногих, само присутствие их требовало объяснения, как и чудовищный союз между этим прекрасным созданием и ужасным человеческим обрубком.

Разумеется, теперь я понял, что этидвигающиеся коротышки и должны были пройти незаметно для меня как по узкой, окаймленной кустарниками, дорожке палисадника, так и по сжатой между двумя изгоролями дороге. Да и, правду сказать, когда я в то время говорил себе, что невозможно, чтобы я не заметил кого-нибудь на тропинке, я думал лишь о ком-нибудь, кто ходит на двух ногах.

Не осталось для меня теперь и тайны дверной ручки: я представлял себе мысленно незаметный крючок, каким ее поворачивали.

Звук «кюи»-«кюи» происходил просто от плохо смазанных колесиков тележек этих недоносков. Наконец, непонятный шум раскатов грома и деревянного барабана происходил от всех этих тележек и железных крючков, когда, после вкусного обеда, эти безногие кавалеры устроили себе маленький бал...

Да, да. Это все объяснимо... Но я вполне чувствовал, видя их горящие загадочные глаза и прислушиваясь к особенному лязгу их крючков, что тут есть еще что-то другое, ужасное и непонятное, в сравнение с чем не может идти все остальное, чему я так изумлялся.

В это самое время пожаловала в сопровождении своего

мужа госпожа Жерар Бовизаж. Чета была встречена дружными приветствиями. Железные крючки в честь ее ударили адский гром аплодисментов. Я был положительно оглушен. Затем представили меня. Безногие забрались повсюду... на столы, на стулья, на тумбы вместо отсутствовавших цветов, на закусочный стол; а один, как Будда, забрался даже в нишу на полке буфета. И все мне преучтиво протягивали свои крючки. Большинство из них, видимо, были люди благовоспитанные и все титулованные и дворяне. Но потом я узнал, что они мне говорили выдуманные фамилии; причина этого будет понятна. В особенности хорошо выглядел лорд Уильмор с его золотистой бородой и красивыми усами, по которым он то и дело проводил своим крючком. Он совсем не скакал по мебели и не походил на готовую сорваться со стены гигантскую летучую мышь.

— Теперь мы ждем только доктора! — дала понять хозяйка дома, время от времени грустно смотревшая на меня; но, сейчас же спохватившись, она улыбнулась своим гостям.

Прибыл и доктор.

Он тоже был безногий, но у него целы были обе руки.

И одну из них он предложил госпоже Жерар, чтобы отправиться в столовую. Вернее сказать, она взяла кончики его пальцев.

Стол был накрыт в той самой комнате, где наглухо закрыты были ставни. Большие канделябры освещали заставленный цветами и закусками стол. Фруктов не было в помине. Вся дюжина безногих сейчас же вскочила на свои стулья и принялась жадно клевать в тарелках своими крючками. О, теперь красивого в них было мало! Я был даже весьма удивлен, с какой жадностью пожирали всё эти человеческие туловища, хотя только что они казались такими благовоспитанными.

Затем они вдруг стихли. Крючки замерли на месте, и за столом водворилось так называемое «тягостное молчание».

Все глаза обращены были к госпоже Жерар, которая сидела рядом с капитаном. И я заметил, как она в большом смущении уткнулась носом в свою тарелку. Тогда приятель

мой Жерар, в отчаянии разведя своими крючками, воскликнул:

— Что же, друзья мои, чего вы хотите? Каждый раз такие случаи, как в прошлом году, не подвертываются... Но не отчаивайтесь! С помощью воображения мы можем сыскать себе развлечение.

И, обернувшись ко мне, он в то же время приподнял, при помощи особого кольца, свой стакан с вином и проговорил:

— За твоё здоровье, мой славный Мишель! И за наше общее!

И все подняли, при помощи колец на концах крючков, свои стаканы. И эти стаканы каким-то странным образом заколыхались над столом.

Мой приятель продолжал:

— А ты, старина, как будто не в своей тарелке! Я тебя знал другим, веселым и занимательным. Уже не оттого ли ты такой грустный, что мы такие? Что же ты хочешь? Приходится быть тем, чем можно... Но нужно смеяться... Мы собрались здесь, все особенные друзья, затем, чтобы вспомнить то хорошее времечко, когда мы сделались такими. Ведь правда это, господа с «Дафны»?

И тогда, — со вздохом продолжал рассказывать капитан Мишель, — мой старый товарищ объяснил мне, что все эти люди когда-то потерпели крушение на «Дафне», которая совершала рейсы на Дальний Восток. Экипаж ее бежал на шлюпке, а эти несчастные спаслись на связанном наскоро плоту. На этот же плот подобрана была удивительно красивая девушка, мисс Мэдж, родителя которой погибли при катастрофе. Всего их оказалось на плоту тринадцать человек; на третий день они уже доели всю бывшую с ними провизию, а к концу недели умирали от голода. И вот тут, как поется в песне, решили они тянуть жребий, чтобы узнать, кому быть съеденным. Надо вам сказать, господа, — особенно серьезно заметил капитан Мишель, — что такие вещи случались гораздо чаще, чем принято о них говорить, и сильнее море не раз видало эти трапезы.

Так вот, стали тянуть жребий на плоту «Дафны», как

вдруг раздался между ними голос доктора. «Сударыня, господа, — заговорил он, — кораблекрушение погубило у вас все ваше достояние, но я сберег свой набор хирургических инструментов и перевязочные средства. И вот что я вам предлагаю. Совершенно не нужно, чтобы кто-нибудь из нас рисковал быть съеденным целиком. Бросим сперва жребий на одну руку или ногу, что угодно. А потом будет видно; и если на утро не покажется на горизонте парус, то...»

На этом месте рассказа капитана Мишеля молчавшие до сих пор четыре старых «морских волка» в один голос крикнули:

— Bravo! Bravo!

— Что «браво»? — нахмутив брови, осадил их Мишель.

— Ну да, разумеется, браво! Очень забавная эта твоя история! Теперь они пойдут по очереди резать себе руки и ноги... Весьма забавно... да только это совсем не страшно!

— А, так! Вы находите это забавным? — закричал, весь ощетинившись, капитан. — А я вам клянусь, что вы нашли бы ее не такой забавной, если бы слышали ее среди этих безногих, глаза которых сверкали, как раскаленные уголья. Да еще, если бы вы видели, как их передергивало на стульях... И с какой жадностью они сцепились через стол своими крючками, и с каким ожиданием, чего я еще не понимал, но от этого все было еще ужаснее.

— Да нет, нет! — опять прервал его Шолье (ох уж, этот задира Шолье). — Совсем твоя история не ужасная! Ничуть! Она просто-напросто забавная, потому что вполне логичная! И хочешь, я тебе доскажу ее? До конца распишу твою историю? А ты мне скажешь потом, так или нет. И вот они на своем плоту стали тянуть жребий, кому себя укоротить... Жребий падает на красавицу... на ляжку мисс Мэдж. Тогда твой приятель, капитан, как человек деликатный, взамен ее предлагает свою собственную, и затем дает обрезать себе и руки и ноги, лишь бы сохранились они в целости у мисс Мэдж.

— Да, старина! Да! Так! Все это верно! — вскипел капитан Мишель, так и норовивший расквасить рожи этим чetyрем болванам за то, что они нашли его историю забав-

ной!.. — Да!.. И что нужно к этому еще добавить, это — следующее: когда все-таки очередь дошла до конечностей мисс Мэдж, так как больше уже ни у кого из них ничего не оставалось, кроме столь полезных рук доктора, то у капитана Жерара хватило решимости отрезать себе вплотную и те жалкие остатки, которые сохранились у него от первой операции!

— А мисс Мэдж, — подхватил Зензен, — ничего лучшего не могла сделать, как предложить капитану эту руку, которую он ей с таким героизмом сохранил!

— Вполне верно! — побагровев до бороды, сказал капитан. — Превосходно! И вы это находите забавным?

— А что же, они все это съели сырым? — спросил простоватый Багатель.

Тут капитан Мишель так хватил по столу кулаком, что все блюда подпрыгнули, как резиновые мячики.

— Ну! Довольно! — рявкнул он. — Помолчите! Я вам еще ничего не рассказал. Самое ужасное только начинается.

И так как те четверо переглянулись и усмехнулись, капитан Мишель даже побелел. Увидав это, те поняли, что дело становится серьезным, и потупили головы.

— Да, господа! — заговорил Мишель самым мрачным тоном. — Ужас заключался в том, что эти люди, — которых лишь месяц спустя спасла китайская джонка и высадила у берегов Ян-Тзе-Киянга, откуда они рассеялись, — усвоили вкус к человеческому мясу и, вернувшись в Европу, порешили собираться раз в год, чтобы по возможности возобновлять свой ужасный пир... Да, господа. И мне недолго пришлось ждать, чтобы это понять. Во-первых, заметно было равнодушие, с которым они относились к некоторым блюдам, которые подавала на стол сама госпожа Жерар. И хотя она робко решалась претендовать, что это — почти что то самое, ее гости, словно сговорившись, совсем ее не хвалили. Только ломти жареной рыбы встретили меньше всего равнодушия, так как они были, — по ужасному выражению доктора, — хорошо отсечены, и хотя вкус ими вполне удовлетворен не был, но зато хоть глаз был введен в заблуждение. Но кто имел больше всех успех, это — туловище

с очками, когда заявило, что «э т о м у д а л е к о д о к р о в е л ь щ и к а».

Когда я это услышал, то ясно почувствовал, как кровь отлила у меня от сердца, — глухо проговорил капитан Мишель. — Потому что я припомнил, что год тому назад в эту пору один кровельщик в Арсенальном квартале упал с крыши и расшибся и затем найден был без одной руки!..

И тогда... гм!.. Тогда я не мог удержаться и не подумать о той роли, которую по необходимости должна была играть моя прекрасная соседка в этой ужасной и кулинарной драме. Я повернулся к госпоже Жерар и заметил, что она была в перчатках, которые доходили ей до плеч, а на плечи она наскоро накинула косынку, скрывавшую ее совершенно от всех взглядов. И мой сосед справа, доктор, который один из всех этих мужских туловищ сохранил свои руки, тоже надел перчатки.

Вместо того, чтобы доискиваться причины этого странного открытия, я лучше бы сделал, если бы послушался данного мне госпожой Жерар в начале этого проклятого вечера совета не засиживаться поздно; но этот совет, надо заметить, она больше не повторяла.

Проявив ко мне в начале этого удивительного пиршества некоторый интерес, в котором, я не знаю почему, мне чувствовалось как будто сострадание, — теперь госпожа Жерар избегала даже смотреть в мою сторону и принимала очень огорчившее меня участие в таком разговоре, ужаснее которого я не слышал за всю свою жизнь. Все эти человеческие обрезки, под звяканье своих щипцов и под звон стаканов в их кольцах, обменивались между собой самыми резкими замечаниями насчет свойственных им вкусов. И, о ужас! Такой корректный до сих пор лорд Уильмор чуть не вцепился своими крючками в безногого с моноклем за то, что тот сказал ему, будто нашел его на вкус жестким. И хозяйке дома стоило больших хлопот привести все в порядок, возразив моноклю, — который во время крушения, должно быть, был юным красавцем, — что ничуть не приятно напасть на слишком молодое мясо.

— Вот это ловко! — не мог удержаться старый «морской волк» Дора. — Это недурно!

Я уже думал, что капитан Мишель вцепится ему в горло, тем более, что остальные трое тоже исподтишка заметно ликовали и обменивались между собой многозначительными междометиями.

Но бравый капитан сдержал-таки себя. И, вздохнув, как тюлень, заметил по адресу Дора:

— У вас, сударь, еще целы ваши обе руки, и я бы вам не желал, чтобы вы ради того, чтобы найти эту историю ужасной, лишились одной из них, как это случилось со мной в эту самую ночь... Итак, безногие господа в эту ночь много выпили. Некоторые из них вспрыгнули на стол и, расположившись вокруг передо мной, так принялись смотреть на мои руки, что я в замешательстве спрятал их, как мог, засунув в самую глубину своих карманов.

Тут я как-то сразу понял, почему не показывали своих рук те, у кого они здесь были целы, то есть хозяйка дома и доктор; понял я это по тем свирепым взглядам, которые стали бросать на меня некоторые из присутствующих. И, как на грех, в эту самую минуту мне понадобилось высморкаться, и я сделал инстинктивное движение руками, при котором из-под рукавов открылась белизна моего тела. И в то же мгновение три крюка кинулись на кисть моей руки и впились в тело. Я страшно вскрикнул.

— Довольно, капитан! Довольно! — закричал я, прерывая рассказчика. — Вы были правы! Я ухожу. Мне невыносимо дальше слушать.

— Оставайтесь, сударь! — велел капитан. — Оставайтесь, потому что я теперь живо доскажу эту ужасную историю, над которой потешались четыре дурака. — И, повернувшись к четверем «морским волкам», которые давились от усилия, чтобы не расхохотаться, — он с невыразимым презрением в голосе объявил:

— Когда имеешь в жилах фокейскую кровь, то это надолго. И, если происходишь из Марселя, то заранее принужден ничему не верить! Так что это только для вас, сударь, для вас одного я рассказываю; но не бойтесь: я промолчу о

самых ужасных подробностях, я ведь знаю, сколько способно вытерпеть сердце деликатного человека! Да и сцена моего мучения пронеслась так быстро, что я только запомнил дикие выкрики, чьи-то протесты; потом на меня набросились, а госпожа Жерар встала, промолвив:

— Только не делайте больно!

Я хотел было вскочить одним махом, но вокруг меня уже была целая стена безногих, которые сшибли меня и повалили... и я чувствовал, как их ужасные крючки вонзались в мое тело, как вонзаются в говядину крючки вешалок в мясных лавках!.. Да... да... сударь!.. Не буду входить в подробности!.. Я вам это обещал! Да я и не могу вам их сообщить, потому что при операции не присутствовал. Доктор, под предлогом зажать мне рот, засунул мне в него кусок пропитанной хлороформом ваты. А когда я пришел в себя, я уже был на кухне и без одной руки. Все безногие были вокруг меня. Теперь они уже не препирались между собой. Они пришли к самому трогательному согласию на почве сладкого опьянения, от которого они, — как накушавшиеся вдоволь детки отдаются дреме, — уже склонили головы. Я не сомневался, что они уже начали меня переваривать. Я был распростерт на каменном полу и так связан, что не мог шевельнуться, но я их слышал и видел. И мой старый приятель Жерар, со слезами довольства на глазах, говорил мне:

— Ах, старина Мишель, никогда я не мог подумать, что ты так нежен!

Госпожи Жерар тут не было. Но она тоже, должно быть, получила свою долю, потому что кто-то спрашивал Жерара, «как она нашла свой кусочек».

Да, сударь, это — конец! Я кончил! Чудовищные обрубки эти, когда удовлетворили свою прихоть, должно быть, поняли все размеры своего злодейства. И они скрылись. Разумеется, с ними же скрылась и госпожа Жерар. Двери за собой они оставили отпертыми... но спасти меня люди явились лишь на четвертый день, когда я уже почти помирал от голода. Ведь мерзавцы оставили мне только кости!..

Гастон Леру

ЗОЛОТОЙ ТОПОР

Скорбная пианистка

Тому прошло много лет: я жил в Герзей, на озере Четырех Кантонов, в нескольких километрах от Люцерна. Нуждаясь в уединении, чтобы окончить одну работу, я решил провести осень в этой прелестной деревушке, старые остроконечные крыши которой так красиво отражаются в водах, по которым некогда скользила лодка Вильгельма Телля.

В это позднее время года все туристы уже разъехались и за табльдотом собирались всего человек шесть, но зато это было тесно сплоченное общество симпатизирующих друг другу людей. Вечером мы рассказывали друг другу о своих дневных прогулках и развлекались музыкой. Одна пожилая дама, одетая всегда во все черное, ни с кем не сказавшая ни слова до тех пор, пока отель наш был полон шумными путешественниками и всегда казавшаяся нам воплощением скорби, оказалась блестящей пианисткой. Не заставляя себя просить, играла она нам Шопена, а особенно одну *berceuse** Шумана, в которую вкладывала столько чувства, что у всех у нас слезы навертывались на глаза. Мы были так благодарны ей за эти сладкие минуты, что, уезжая перед наступлением зимы, мы все сложились, чтобы преподнести ей на память маленький подарок.

Один из нас съездил для этой цели в Люцерн и, вернувшись к вечеру, привез золотую брошь в виде маленького топорика.

Но ни в этот вечер, ни на следующий никто не видел нашей пианистки. Тогда уехавшие пансионеры поручили мне передать ей золотой топорик.

Ее вещи оставались в отеле, и я ждал ее с минуты на минуту, так как хозяин отеля сказал мне, что она нередко пропадала так на несколько дней и не было никакого основания беспокоиться о ее судьбе.

И в самом деле, накануне моего отъезда, когда я в последний раз обошел вокруг озера и остановился около часо-

* Колыбельную (*фр.*).

венки Вильгельма Телля, я увидел на пороге ее нашу почтенную пианистку.

Никогда еще, до этой минуты, я не был так поражен бесконечным отчаянием, написанным на ее лице, и никогда раньше я не замечал так ясно в ее чертах еще не исчезнувшие следы былой красоты. Она увидела меня, опустила вуаль и сошла к берегу. Я тотчас же нагнал ее и, поклонившись, выразил ей сожаление от имени уехавших путешественников. Так как приготовленный подарок был со мной, я передал ей коробочку, в которой заключался золотой топорик.

С грустной улыбкой открыла она коробочку, но, едва взглянула на заключавшийся в ней предмет, как вдруг сильная дрожь охватила ее; она отступила от меня, как будто я внушал ей страх и, бессознательным жестом, бросила топорик в озеро!

Я не успел еще прийти в себя от изумления, как уже она, рыдая, просила у меня прощения. Невдалеке стояла скамейка, и мы сели на нее. После общих жалоб на судьбу, она поведала мне мрачную историю своей жизни, и я никогда не забуду ее! В самом деле, я не знаю ничего ужаснее судьбы этой дамы, всегда окутанной черными вуалями и с таким проникновенным чувством игравшей нам *berceuse* Шумана.

Поистине, ужасная судьба!

— Вы все узнаете, — сказала мне она, — так как я навсегда покидаю эту страну, которую мне хотелось повидать в последний раз. И тогда вы поймете, почему я бросила в озеро ваш золотой топорик.

Счастливый брак

Мне было двадцать четыре года, когда мне представилась партия, превышавшая, по мнению моих близких, самые смелые надежды. Молодой человек родом из Бризгау, проводивший каждое лето в Швейцарии и с которым мы познакомились в Эвианском казино, влюбился в меня



и я также полюбила его. Герберт Гутман, так звали его, имел доброе сердце и простодушный характер. Эти нравственные качества соединялись в нем с недюжинным умом. Он не был богат, но все же располагал довольно значительными средствами. Его отец, сказал он мне, имел прибыльное дело, которое рассчитывал передать впоследствии сыну. Мы только что собирались отправиться навестить старого Гутмана в его имении в Тоднау, в самой глубине Шварцвальда, как вдруг внезапная болезнь моей матери неожиданно ускорила события.

Не чувствуя себя в силах продолжать путешествие, мать моя спешно вернулась в Женеву, навела оттуда справки относительно Герберта и его семьи и получила от гражданских властей из Тоднау самые лучшие отзывы. Отец начал свою карьеру скромным дровосеком; потом покинул родину и через много лет возвратился, сколотив себе небольшое состояние. Это все, что знали о нем в Тоднау.

Моя мать вполне удовлетворилась этими требованиями и поспешила скорее закончить все приготовления к моей свадьбе, состоявшейся за неделю до ее смерти. И умерла, успокоенная мыслью, что «устроила мою судьбу».

Нежными заботами и бесконечной добротой своей муж мой помог мне перенести это жестокое испытание. Прежде, чем ехать к его отцу, мы провели неделю здесь, в Герзей, а потом, к удивлению моему, предприняли длинное путешествие, все еще не повидав отца. Мало-помалу моя печаль начала рассеиваться, как вдруг я стала замечать, что настроение моего мужа стало приобретать все более и более мрачный характер.

Это тем более удивляло меня, что в Эвиане Герберт казался мне человеком веселым и, что называется, «с душой нараспашку». Неужели же эта веселость была напускная и должна была скрывать какое-то глубокое горе? Увы! он не переставал тяжело вздыхать, когда думал, что я не обращаю на него внимания, сон его становился все тревожнее и беспокойнее и, наконец, я решилась расспросить его. При первых же моих попытках, он громко расхохотался, назвал меня маленькой дурочкой и страстно обнял и поцеловал меня: все это только еще более утвердило меня во мнении, что я стою лицом к лицу с какой-то горестной тайной.

Я не могла разубедить себя в том, что в поведении Герберта было что-то похожее на муки угрызений совести. И в то же время я готова была поклясться, что он не был способен, — не говорю уже на низость или подлость, — но даже просто на неделикатный поступок. Между тем, судьба, так ожесточившаяся против меня, снова поразила нас, на этот раз в лице моего тестя, о смерти которого мы узнали, находясь в Шотландии. Это роковое известие ошеломило моего мужа. Всю ночь он, не сказав мне ни слова, не плакал и, казалось, не слышал даже нежных слов утешения, которыми я, в свою очередь, старалась поддержать его мужество. Он был буквально убит. Наконец, при первых лучах рассвета, он встал с кресла, на котором просидел всю ночь, обернул ко мне лицо, искаженное нечеловеческими страданиями, и сказал тоном раздирающей душу скорби:

— Ну что ж, Элизабет, надо возвращаться, надо возвращаться!

И слова эти, и тон, которым они были сказаны, имели какой-то особый смысл, непонятный для меня! Возвраще-

ние в дом отца в такой важный момент казалось мне таким естественным и я никак не могла уразуметь причины, по которой он, видимо, боролся с необходимостью возвращаться. С этого дня Герберт совсем изменился, стал страшно раздражительным и я несколько раз заставляла его безумно рыдающим потихоньку от меня.

Скорбь об умершем отце не могла объяснить всего ужаса нашего положения, так как нет на свете ничего ужаснее тайны, глубокой тайны, стоящей стеной между двумя обожающими друг друга существами, тайны, внезапно встающей между ними в часы самой нежной любви; и в безумном отчаянии смотрят они друг на друга непонимающим, странным взглядом.

Обитель мрачной тайны

Мы приехали в Тоднау и помолились над свежей могилой. Этот маленький городок Шварцвальда, лежащий в нескольких шагах от Долины Ада, сразу же произвел на меня гнетущее впечатление; я не нашла там подходящего для себя общества. Дом старого Гутмана, в котором мы поселились, находился на опушке леса.

Единственным гостем нашего мрачного особняка был местный часовщик-старик, приятель покойного Гутмана; он считался богачом, что не мешало ему, однако, приходить к нам всегда в часы завтраков и обедов, прозрачно навязываясь на приглашение разделить с нами наш скромный стол. Я не любила этого фабриканта кукушек и мелкого ростовщика, жадного скрягу, не способного ни на какой деликатный поступок. Герберт тоже недолюбливал Франца Басклера, но, из уважения к памяти отца, продолжал принимать его.

Бездетный Басклер много раз обещал покойному Гутману сделать его сына своим наследником. Однажды, рассказывая мне об этом с нескрываемым отвращением (что служило мне лишним доказательством благородства его ду-

ши), Герберт спросил меня:

— Хотела ли бы ты получить в наследство деньги этого бессовестного скряги, нажитые на разорении всех бедных часовщиков Долины Ада?

— Конечно, нет, — ответила я. — Отец твой оставил нам кое-что и того, что сам ты зарабатываешь честным трудом, вполне хватит нам даже и в том случае, если Господь пошлет нам ребенка.

Не успев еще окончить этой фразы, я вдруг заметила, что Герберт побледнел, как полотно. Я схватила его в свои объятия, думая, что он сейчас упадет, но румянец вернулся на его лицо, и он с силой крикнул:

— Да, да! надо иметь чистую совесть; в этом все!

И, как безумный, убежал от меня.

Иногда он уезжал на день или на два по делам своей торговли, которая заключалась, как он говорил мне, в покупке срубленных деревьев и в перепродаже их скупщикам. Дело это требовало знания и опыта в распознавании качества товара и он унаследовал эти знания от своего отца. Он никогда не брал меня с собой и я оставалась одна во всем доме со старой служанкой, которая с самого начала встретила меня враждебно и я пряталась от нее, чтобы поплакать на свободе. Я не была счастлива. Мне было ясно, что Герберт скрывает от меня что-то такое, о чем сам он никогда не перестает думать и о чем я тоже думала постоянно, не зная ничего и теряясь в догадках.

И, кроме того, этот темный лес пугал меня! И служанка пугала меня! И старый Басклер пугал меня! И наш старый дом. Дом был большой, со множеством лестниц, коридоров, по которым я боялась ходить. В конце одного коридора находился маленький кабинетик; раза два я видела, как мой муж входил туда, но сама я никогда не входила. И никогда я не могла без страха проходить мимо вечно запертой двери этого кабинета. Там запирался Герберт, как он говорил мне, для того, чтобы писать и приводить в порядок свои торговые книги, и я слышала, как он там вздыхал и стонал наедине со своей тайной.

Таинственное возвращение

Однажды ночью, когда муж мой уехал по делам, я напрасно старалась заснуть, и вдруг внимание мое было привлечено легким шумом под окном, которое я оставила открытым из-за жары. Я осторожно встала. Небо было черное, звезды скрылись под темными тучами. Я ясно различила фигуры моего мужа и моей служанки лишь в тот момент, когда они прошли под самым моим окном; они шли осторожно, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить меня, и несли вдвоем длинный, узкий чемодан, которого я раньше не видала.

Страх мой превзошел все пределы. Почему они точно скрывались от меня? Прошло порядочно времени, а Герберт не приходил ко мне. Я наскоро одела пеньюар и стала бродить по темным коридорам. Мои ноги сами пришли к маленькому кабинету, всегда так пугавшему меня. И, не успев еще подойти к нему, я услышала, как муж мой глухим и суровым голосом отдавал приказания служанке:

— Принеси мне воды! горячей воды! Слышишь ты? *Все еще не отходит!*

Я остановилась и затаила дыхание. Я и не могла вздохнуть. Что-то душило меня и на сердце тяжело лежало предчувствие страшного несчастья, внезапно свалившегося на нас. И снова я услышала голос моего мужа:

— А! наконец... готово!.. отошло!..

Они еще что-то говорили, но очень тихо и, наконец, слышались шаги Герберта. Это вернуло мне силы; я убежала и заперлась в своей комнате. Вскоре в дверь постучали; я представилась спящей и едва проснувшейся от стука; наконец, я открыла дверь. Свеча, которую я держала, упала у меня из рук, когда я заметила ужасное выражение его лица.

— Что с тобой? — спокойно спросил он. — Ты еще не совсем проснулась? Ложись и засни опять.

Я хотела было зажечь свет, но он воспротивился этому и я бросилась на свою постель. Что за ужасную ночь я провела!

Герберт тоже не спал: все ворочался и вздыхал. Со мной он не сказал ни слова, а рано утром поцеловал меня ледяным поцелуем и уехал. Служанка передала мне, что он будет в отсутствии два дня.

Убийство

В восемь часов утра я узнала от рабочих, проходивших мимо нас, что старик Басклер найден убитым в своем домике в Долине Ада, где он ночевал иногда в тех случаях, когда его ростовщические дела надолго задерживали его в этой местности. Ему раскроили голову ударом топора, «сильным ударом искусного дровосека».

Я едва могла идти, цепляясь за стены, и опять невольно пришла к роковому кабинету. Не знаю, какая работа происходила в моем мозгу, но я чувствовала необходимость увидеть, что там было, за этой дверью. Заметив меня, служанка злобно крикнула мне:

— Оставьте эту дверь в покое! Вы ведь знаете, что барин запретил вам трогать ее. Небось, немного вы узнаете, если и увидите, что там есть!..

И, уходя, она засмеялась жутким смехом злого духа. У меня сделалась сильная лихорадка, и я слегла в постель. Две недели была я больна. Герберт ухаживал за мной с материнской нежностью. Мне казалось теперь, что я просто видела дурной сон, что не было в действительности ничего, случившегося в ту страшную ночь. К тому же, убийца Басклера был найден и арестован. Это был бергенский дровосек, из которого старый ростовщик давно уже сосал кровь, и он отомстил ему теперь.

Дровосек этот, по имени Матис Мюллер, продолжал, однако, упорно отрицать свою виновность, но, хотя ни на топоре его, ни на одежде не нашли ни единой капли крови, тем не менее, улики, собранные против него, были настолько сильны, что он не мог избежать наказания.

Смерть Басклера ничуть не изменила нашего материаль-

ного положения, и Герберт напрасно ждал его завещания. Завещания не оказалось.

К великому моему удивлению, муж мой очень огорчился и, когда я спросила его об этом, он с раздражением ответил:

— Ну, да, конечно! Я очень рассчитывал на его завещание, если хочешь знать.

При этих словах он посмотрел так страшно, что в памяти моей снова воскресло его лицо, каким оно было в ту страшную ночь; и с этой минуты ужасный призрак не покидал меня. Когда в Фрибурге начался процесс Матиса Мюллера, я с жаром набросилась на газеты. Одна фраза адвоката преследовала меня и днем и ночью:

— Пока не будет найден топор, разрубивший голову убитого, и окровавленное платье, бывшее на убийце в момент совершения преступления, до тех пор вы не можете обвинить Матиса Мюллера.

Тем не менее, Матис Мюллер был приговорен, и я должна вам сказать, что известие это странно поразило моего мужа. Всю ночь он бредил Матисом Мюллером. Он пугал меня, и собственные мои мысли тоже пугали меня.

Я хотела узнать! Я чувствовала необходимость узнать! Почему он говорил тогда:

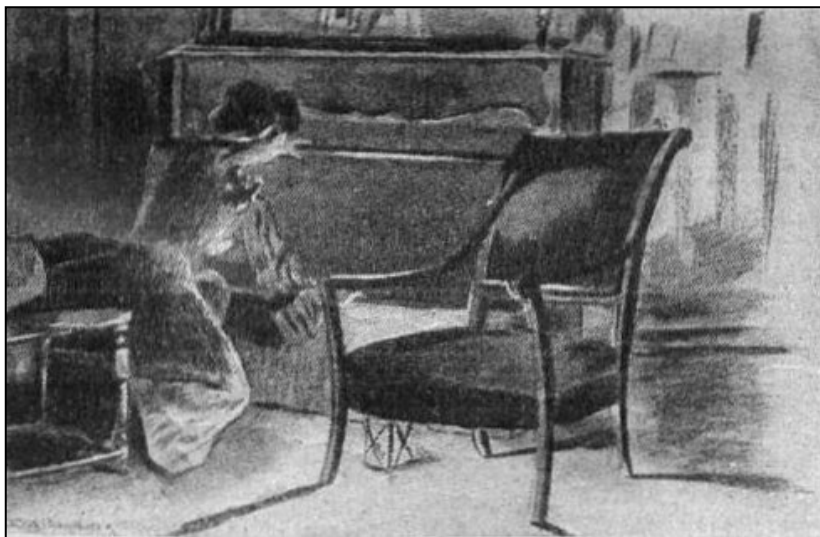
— Все еще не отходит!

Что делал он в ту ночь в таинственном кабинете?

Кровавая находка

Однажды ночью я встала и ощупью, потихоньку, украла у него ключи и побежала в коридор... В кухне нашла фонарь... и, стуча зубами, подошла к запретной двери... Открыла ее... и тотчас же увидела чемодан... длинный чемодан, который так интриговал меня... Он был заперт... Но я быстро нашла в украденной связке подходящий маленький ключик... подняла крышку и встала на колени, чтобы получше разглядеть... Крик ужаса вырвался у меня из груди!.. Там

было окровавленное платье и слегка заржавленный топор!..



Каким образом, после всего, что я видела, могла я прожить рядом с этим человеком еще несколько недель, до казни несчастного дровосека?

Я боялась, что он убьет меня!..

И как он не заметил моего необычайного настроения? Но дело в том, что сам он, не меньше моего, был занят своими мыслями и страхами. Матис Мюллер не покидал его!

Странное дело! За двое суток до дня казни Мюллера к Герберту сразу вернулось все его спокойствие, холодное спокойствие мраморной статуи! Наконец, вечером он сказал мне:

— Элизабет! Завтра рано утром я уезжаю; у меня есть важное дело в Фрибурге. Может быть, я пробуду в отсутствии дня два. Ты не беспокойся.

Именно в Фрибурге должна была совершиться казнь, и вдруг я подумала, что причиной внезапного успокоения Герберта было принятое им великое решение.

Он хочет сознаться!

Эта мысль настолько утешила меня, что в первый раз

после многих, многих ночей, я заснула крепким, спокойным сном. Проснулась я поздно. Муж мой уже уехал.

Накануне казни

Наскоро я оделась и, ничего не говоря служанке, побежала в Тоднау, а оттуда поехала в Фрибург. Когда я приехала туда, день уже близился к вечеру; я прямо побежала в суд, и первый человек, которого я увидела входящим в здание суда, был мой муж. Я остановилась, точно кто пригвоздил меня к месту. Герберт не возвращался, и я решила, что, значит, он действительно сознался, и его арестовали.

Тюрьма прилегалась к зданию суда, и я, как безумная, ходила около нее. Всю ночь я бродила по улицам Фрибурга, постоянно возвращаясь к этой мрачной тюрьме. Рано утром, на рассвете, я заметила двух людей в черных сюртуках, поднимавшихся по лестнице здания Суда.

Я побежала к ним и сказала, что мне необходимо, как можно скорее, повидать прокурора, так как я имею сделать ему очень важное сообщение по делу об убийстве Басклера.

Один из них как раз оказался прокурором. Он попросил меня следовать за ним и ввел меня в свой кабинет. Я назвала себя и спросила, был ли у него вчера мой муж. Он ответил мне, что, действительно, он видел его накануне вечером. Я бросилась перед ним на колени и умоляла его сжалиться надо мной и сказать мне, сознался ли мой муж в своем преступлении. Он, видимо, очень удивился, поднял меня и стал расспрашивать.

Я рассказала ему всю свою жизнь так же, как вам сейчас и, наконец, сообщила ему и об ужасном открытии, сделанном мной в таинственном кабинете нашего дома в Тоднау. И в заключение, я поклялась, что никогда бы не допустила казнить невинного, и если мой муж не сознался бы сам, я предала бы его в руки правосудия. Наконец, как великой милости, я попросила у него разрешения повидать моего мужа.

— Вы увидите его, сударыня, — сказал он. — Соболагово-
лите пойти за мной.

У окна, за железной решеткой

Едва живую, привел он меня в тюрьму; мы шли по ка-
ким-то коридорам и, наконец, поднялись на лестницу. Там
он поставил меня у маленького окна, за железной решет-
кой, и покинул меня, советуя вооружиться терпением. Тут
были и другие люди, также смотревшие через окошко с
решеткой в обширный, мрачный зал.

Я стала смотреть вместе с ними, — точно приросла к же-
лезной решетке, и предчувствие ожидавшего ужаса леде-
нило мне кровь. Мало-помалу зал наполнился людьми, и
все они хранили зловещее молчание. Среди зала стоял дере-
вянный чурбан и кто-то сзади меня сказал: «Это плаха»!

Стало быть, Мюллер все-таки будет казнен! Холодный
пот выступил у меня на висках и я не знаю, как я тут же не
потеряла сознания. Вот отворилась дверь и показалась про-
цессия, впереди которой шел осужденный, дрожащий всем
телом, с обнаженной шеей. Руки его были связаны сзади, и
два человека поддерживали его. Священник прошептал ему
что-то на ухо. Матис Мюллер не подавал никаких призна-
ков жизни, как вдруг от стены отделился человек, держав-
шийся до тех пор в тени, человек с голыми руками и с то-
пором на плече.

Он взял осужденного за голову, отстранил державших
его людей и, взмахнув топором, нанес ему страшный удар.
Голова покатилась. Он поднял ее, запустив руку в волосы,
и выпрямился.

Как могла я остаться, до конца присутствовать при этом
ужасе? Но глаза мои не могли оторваться от этой кровавой
сцены, как будто ожидая увидеть еще что-то... И я увидела!.
Я увидела, когда человек этот выпрямился и поднял голо-
ву, держа в руке свой страшный трофей.. Я вскрикнула ду-
шераздирающим криком: «Губерт!» И потеряла сознание...



Роковая процессия

Теперь вы знаете все; я вышла замуж за палача. Топор, найденный мной в таинственном кабинете, был топором палача, и окровавленное платье — платьем палача! Я чуть с ума не сошла, живя у своей старой родственницы, у которой я поселилась на другой же день, — и я не знаю, как я еще жива до сих пор!

Что же касается моего мужа, который не мог жить без меня, потому что он любил меня больше всего на свете, его

нашли, два месяца спустя, повесившимся в нашей спальне. И я получила от него следующую записку:

«Прости меня, Элизабет! Я перепробовал все профессии. Но меня прогоняли отовсюду, как только узнавали, чем занимался мой отец. И я должен был волей-неволей принять его наследство. Поймешь ли ты теперь, почему служба палача переходит *от отца к сыну*? Я родился честным человеком. Единственное мое преступление состояло в том, что я все скрыл от тебя. Но я любил тебя, Элизабет! Прощай!».

Дама в черном была уже далеко, а я все еще бессмысленно смотрел на то место озера, куда она бросила наш золотой топорик.

Гастон Леру

**ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ
ДЬЯВОЛА**

Удар грома был настолько силен, что, казалось, свод пещеры, в которую мы укрылись от грозы, обрушился. Сразу потемнело, и мы уж не могли различать друг друга. Даже полоса света, проникавшая в отверстие пещеры, погасла и, хотя ночь еще не наступила, но угрюмые, черные тучи и тяжелая завеса дождя, казалось, навсегда скрыли от земли солнце.

И вдруг, будто истощив свои силы, гроза затихла. Тихо стало и в пещере. Нас было в ней четверо: Матис, Аллан, я и Макоко, которого мы прозвали так за его безобразие.

Первым нарушил молчание Макоко.

— Если Жантильом* не приютит нас, нам придется ночевать в этой пещере, — сказал он.

И вдруг гроза забушевала с новой силой. Казалось, горы дрожали от яростных налетов ветра. Какой-то бледный луч осветил наше убежище, и в то же время в отверстии пещеры обрисовалась какая-то темная и странная фигура.

Макоко дотронулся до моей руки,

— Это он, — услышал я его шепот.

Я взглянул.

Так вот он, тот, кого в окрестности называли Жантильомон. Это был высокий и худой человек. Бледный зеленоватый луч, который падал на него, и вся эта обстановка делали его фигуру какой-то таинственной. Он не смотрел на нас и молча, стоял, опершись на свое ружье. Я мог разглядеть только его профиль: орлиный нос, крепко сжатый рот с какой-то горькой складкой вокруг губ и глубоко впавшие глаза. Редкие седые волосы зачесаны были за уши. Трудно было отгадать его возраст, — ему могло быть от сорока до шестидесяти лет. Какая-то странная сила, казалось, скрывалась в нем. Я внимательно разглядывал его. Вдруг я увидел у его ног собаку, которую сразу не заметил.

Повернувшись к нам, она лаяла. Но странно, ни одного звука не вылетало из ее пасти. Очевидно, она была нема.

И как-то жутко было от ее беззвучного лая.

* *Gentilhomme* (фр.) — джентльмен, благородный, знатный человек, здесь как «хозяин» (имения).

Вдруг человек повернулся к нам.

— Господа, — сказал он, — вы не можете вернуться сегодня в Шо-де-Фон. Позвольте мне предложить вам приют на эту ночь.

Потом он нагнулся к своей собаке и ласково сказал ей:

— Замолчи же, Тайна.

Собака закрыла пасть.

Это предложение, сделанное нам очень любезно и вежливо, крайне поразило нас. В продолжение пяти часов, что мы провели на охоте в лесу, раскинутом на гребне горы, Матис и Макоко, местные уроженцы, успели рассказать мне и Аллану массу самых невероятных историй про хозяина этого леса.

Многие из них, очевидно, выдуманы были местными ку-мушками. Жантильома редко кто видел. Он был нелюдим. Никто не знал его жизни. Она была тайной для других. Конечно, это возбуждало любопытство. Про него говорили, что он знается с нечистым. Но единственное, что повторялось неизменно в каждом рассказе, это то, что у него никогда и никто не бывал, и сам он ни к кому не ходил.

Одинокó жил он в своем мрачном замке со старой служанкой и управляющим, таким же диким и нелюдимым, как и его хозяин. И это продолжалось с незапамятных времен. В долине никто не мог сказать, в какое именно время поселился в своем орлином гнезде таинственный владелец этих гор и лесов.

Жантильом ждал нашего ответа. Надо было решать.

Аллан и я, несмотря на явное нежелание наших друзей, поблагодарили и, воспользовавшись минутой затишья, мы покинули пещеру и последовали за нашим хозяином.

Замок был недалеко. Нас встретила старушка, которая стояла, опершись на палку. Мы вошли в большую залу, унылую и пустынную залу старинных замков, единственным украшением которой был громадный камин, занимавший почти всю стену и способный вместить в себя чуть не целое дерево.

Старушка сказала, что ее зовут Аппензель, и пригласила нас в первый этаж, где были назначенные нам комнаты.

Я как сейчас вижу нашего хозяина таким, каким я увидел его, озаренного светом камина, когда я входил в залу, где мои друзья расположились уже вокруг огня. Жантильом стоял перед ними на ступеньке очага. Он был в другом костюме, и в каком! Очевидно, это было платье одного из его прадедов. Фрак с широкими отворотами, бархатный жилет, короткие штаны и шелковые чулки, высокий воротник и галстук — все так же, как и его вежливые и немного величавые манеры, отзывалось давно прошедшими временами.

Он любезно предложил мне присесть к огню. Разговор шел об охоте. Я не отрывал глаз от фигуры нашего хозяина, от его задумчивого лица, озаряемого переменчивым светом камина. Сколько грусти было в этом лице! Морщины, резко обозначенные, ясно говорили о кипучей бурной молодости, как вулкан, уже погасший, говорит путешественнику о глубине своих расщелин, где некогда кипел огонь, и о своем замершем теперь сердце.

У ног хозяина лежала Тайна, положив голову на лапы и глядя в огонь полужакрытыми глазами. Вдруг она раскрыла пасть и снова беззвучно залаяла.

И я спросил:

— Давно онемела ваша собака? Отчего это с ней случилось?

— Она нема от рождения, — после короткого молчания нехотя ответил хозяин. Мой вопрос, очевидно, был ему не по душе.

Но я продолжал:

— А ее отец? Или мать — тоже были немые?

— Да, и мать и мать ее матери — все они были немые! — резко ответил старик. — И даже раньше: еще ее прабабка была немой.

— Как, вы знали ее прабабку?

— Да, сударь, это было верное и преданное животное. Она была мне настоящим другом и оберегала меня, как никто! — сказал он с волнением, удивившим меня.

— И она тоже была немой от рождения?

— Нет, она онемела после одной ночи, когда она слиш-

ком много лаяла, — медленно ответил хозяин и вдруг, резко повернувшись, крикнул: — Что же, скоро вы дадите нам ужин?

Как раз в это время вошла старушка Аппензель с дымящейся миской в руках.

Мы сели за стол.

Ужин был превосходный. Аллан и я, как волки, набросились на еду. Матис и Макоко, которые проглотили первую ложку с таким видом, словно это был яд, теперь ободрились и не отставали от нас.

Во время ужина хозяин спросил нас, довольны ли мы своими комнатами.

— У меня к вам большая просьба, — начал я.

Все головы повернулись ко мне.

— Позвольте мне ночевать в «проклятой комнате».

Я не успел окончить своей фразы, как побледневший, как полотно, хозяин поднялся с своего места.

— В «проклятой комнате»? — повторил он. — Кто вам сказал, что в моем доме есть такая комната?

Его взгляд упал на Аппензель.

— Это ты? — закричал он.

— Нет, нет, не браните Аппензель. Я во всем виноват, — вступился я. — Я хотел войти в какую-то комнату, дверь которой была заперта, но ваша служанка не позволила мне. «Нельзя входить в «проклятую комнату», — сказала она.

— И вы не вошли?

— Нет, вошел.

— Ах, Господи! — простонала старушка.

— Ступай вон! — крикнул ей хозяин.

И, когда она ушла, он обратился ко мне:

— В той комнате ночевать нельзя. Уже пятьдесят лет, как никто не спит в ней!

— А кто ночевал там в последний раз?

— Я! И я никому не советую спать там.

— Пятьдесят лет! Но вы были ребенком тогда.

— Мне было в то время двадцать восемь лет.

Мы не могли сдержать своего удивления. Неужели ему было уж семьдесят восемь лет? А на вид нельзя было дать

и шестидесяти.

— Но что же могло там произойти с вами? Я был в этой комнате и не заметил в ней ничего особенного. И только шкап...

— Вы дотронулись до шкапа? — вскричал хозяин, подходя ко мне. — Вы дотронулись до шкапа?

— Да, мне показалось, что он падает, и я хотел...

— Он вовсе не падает! Он никогда не упадет. И его нельзя сдвинуть с места. Он всегда стоит так, склонясь, не в силах сдержать тяжести того, что в нем. Он навеки останется так.

Мы невольно все поднялись. Голос старика прерывался. Крупные капли холодного пота выступили у него на лбу. Глаза, которые мы считали погасшими, метали пламя. Он был страшен. Он схватил меня за руку и сжал ее с силой, какой никто не мог и подозревать в нем. И вдруг глухо спросил:

— Вы не открывали шкапа?

— Нет.

— Тем лучше! — облегченно вздохнул он. — Значит, вы не знаете, что в нем. Ах, сударь, это хорошо, очень хорошо для вас!

И дрожащей рукой он вытер свой лоб; из груди его вырвался долгий вздох. Он зашагал взад и вперед по комнате и вдруг остановился перед своей собакой, которая, подняв голову, внимательно и беспокойно следила своими умными глазами за хозяином. Весь его гнев, который он старался успокоить в себе, разгорелся снова и обрушился на собаку:

— Зачем ты так смотришь на меня? Не довольно тебе? Что тебе нужно? Иди в свою конуру! Слышишь? Ступай в конуру!

Он с бешенством, которое трудно было понять, толкал ее из комнаты:

— Ах, да заговоришь ли ты когда-нибудь, Тайна? Заговоришь ли? Или издохнешь, как и другие, молча? Заговори же, заговори!

Он открыл дверь и гнал пинками свою собаку, которая при каждом ударе раскрывала беззвучно свою пасть от боли. Он выгнал ее на двор, но и там продолжал бить.

Нас очень расстроила эта сцена.

Макоко проговорил вполголоса:

— Ну что, я же говорил вам! Знаете что, вы как хотите, а я не пойду в свою комнату. Я останусь здесь на всю ночь.

— И я с тобой, — сказал Матис.

— Да, лучше не спать. Мы, может быть, увидим забавные вещи, — проговорил Аллан.

— Тише, не надо с этим шутить, — беспокойно сказал Макоко.

И, помолчав, прибавил:

— Я ведь говорил вам!

— Что ты нам говорил? — рассердился Аллан.

Маково приблизился и шепотом произнес:

— Разве вы не видите, что он одержимый?

— Просто больной, — сказал Аллан.

— Да, конечно, — поддержал я его, — и вообще, ведь он совсем нормален... пока не затронешь его мании. Бедняга воображает, очевидно, что его преследуют с того света и что он — добыча дьявола.

— Не произноси этого имени, и особенно здесь! — быстро прервал меня Матис.

Мы с Алланом засмеялись.

— Не смейтесь! Это может плохо кончиться!

— Да полно вам, трусы! Чего вы оба боитесь? — сказал Аллан. — Знаете что? Сейчас одиннадцать часов, и у нас еще шесть часов впереди. Давайте поиграем в карты. Пригласим и хозяина. Это его рассеет.

И Аллан, записной игрок, у которого всегда была в кармане колода карт, вынул ее и бросил на стол.

— Ну что ж, начнем.

Не успел он разложить карты, как в комнату вернулся хозяин. Вид у него был уже совершенно спокойный. Он медленно подошел к столу. И вдруг, в то самое мгновение, как он увидел карты, лицо его исказилось таким отвращением и ужасом, что невольно все мы вздрогнули.



— Карты! — вскричал он. — Откуда они? Это ваши?

Он остановился, задыхаясь, потом медленно, с трудом, будто невидимая рука сжимала его горло, заговорил:

— Кто вы? Откуда?.. Кто велел вам прийти сюда... с картами? Кто вас послал? Чего вам *опять* от меня нужно? Не довольно разве мне мучений? А, надо сжечь эти карты!

И он схватил колоду и, размахнувшись, хотел кинуть ее в огонь. Но в тот же миг словно какая-то сила задержала его руку. Он с ужасом оглянулся, его пальцы медленно разжались, и он упал в кресло с хриплым криком:

— Я задыхаюсь! Меня душит!

Мы бросились к нему на помощь... но он уже сорвал с себя воротник и глубоко, часто дышал.

Потом он хотел встать, но вдруг голова его упала на руки, и он зарыдал с таким отчаянием и мукой, что эти слезы, казалось, жгли его лицо.

Прошло несколько минут.

Наконец, он заговорил:

— Я должен рассказать вам все. Я не хочу, чтоб вы считали меня безумным. И потом, мой рассказ может послужить вам на пользу.

Макоко и Матис затаили дыхание. Аллан и я смотрели на старика с сожалением, в которому примешивалось любопытство. Старик сделал несколько шагов и остановился перед нами.

— Мое имя... нет, зачем оно вам? Оно не играет никакой роли в этой истории, которую я вам сейчас расскажу. Я хотел бы только, чтоб она вам послужила на пользу.

Это было очень давно. Мне только что исполнилось восемнадцать лет. Я был таким же скептиком, как и вся тогдашняя, да и теперешняя тоже, молодежь. Я не верил ни во что и ничего не боялся. Мне досталось огромное наследство. Я был красив, любил веселиться. И я не солгу, если скажу, что считался одним из самых блестящих молодых

людей того времени. Все мне удавалось, я испытывал все, что может дать жизнь, и я отдавался ее радостям, не думая ни о чем.

Так прошло десять лет. И эти десять лет безумной жизни взяли все мое состояние. У меня остались только этот старый замок и лес, которые были совершенно заброшены.

Как раз в это время я полюбил, — полюбил в первый раз, серьезно и глубоко. На всю жизнь. Я не буду говорить о ней, скажу только, что ее семья была одной из самых знатных и богатых того времени. А сама она была в моих глазах ангелом. И ни за что в мире не хотел бы я, чтобы у нее хоть на мгновение мелькнула мысль, что я ищу ее приданого. Я не мог этого допустить! И вот я стал играть. Я вел безумную игру, надеясь вернуть свое состояние, чтоб принести его к ее ногам вместе с моей любовью... и я потерял все... Я уехал из Парижа сюда, в эту глушь, чтобы скрыть и свой стыд и свое отчаяние.

Здесь жил наш старый слуга Аппензель с дочерью и сыном. Дочь его вы уже видели, а сын служит у меня управляющим.

И с первого же вечера меня охватила безумная тоска.

Вот тогда-то все и случилось.

Он остановился на мгновение, с каким-то странным выражением на лице прислушиваясь к вою ветра, и потом опять заговорил, не глядя на нас:

— Да, это случилось в тот же вечер. Когда я вошел в свою комнату, ту самую, в которой у меня просили сегодня позволения переночевать, меня еще сильнее охватила тоска.

Я открыл окно. Бледная луна заливала мертвенными лучами всю окрестность. Я глядел на эти печальные, безмолвные горы, на всю эту пустыню, в которой мне предстояло жить с этих пор. Ни одного звука не было слышно. Все, казалось, вымерло. Мое сердце, как тиски, сжимало отчаяние. Я долго стоял так. И когда я отошел от окна, мое решение было принято — я должен умереть.

Мои пистолеты лежали на столе, и мне стоило только протянуть руку, чтобы... Да, я забыл сказать, что я привез с собой из Парижа собаку, своего последнего и верного друга.

Как-то ночью, возвращаясь домой из игорного дома, озлобленный проигрышен и проклиная небо, я нашел ее у своих дверей. Мне стало жаль ее, и я взял ее к себе. Так как я не знал, откуда она и кому принадлежала, я назвал ее Тайной. И вот в тот миг, когда я взял в руку пистолет, я услышал ее вой. Да, господа, она начала выть под моим окном. Я никогда не слышал ничего подобного. И только сегодня, — вы слышите этот странный вой ветра? Так же точно выла и моя Тайна.

«Что это? — подумал я. — Неужели она чувствует мою смерть, чувствует, что я хочу убить себя?»

Я задумался, держа пистолет в руке, о том, чем была вся моя прошлая жизнь, и в первый раз мне пришла в голову мысль: что будет со мной после смерти?.. И вдруг мой блуждающий взгляд упал на полку с книгами, висевшую на стене. Машинально я подошел и начал читать заглавия. Это были старинные рукописи, исключительно об алхимии, о вызывании духов и так далее. Я взял одну из них. Она называлась «Ведьма Юрских гор». С улыбкой скептика, который ни во что не верит, я открыл ее. Мне бросились в глаза первые две строки, написанные красными чернилами:

«Если серьезно хотят видеть дьявола, надо всей силой воли, от всего сердца позвать его — и он придет».

И затем следовал рассказ о юноше, который разорился, как и я. Он был так же, как и я, влюблен, — я будто читал свою собственную историю. И вот он призвал на помощь князя тьмы. И тот помог ему. Юноша вернул свое богатство, женился на любимой девушке, и вся его жизнь была сплошной удачей.

Я, не отрываясь, жадно дочитал рассказ.

А на дворе Тайна все выла, и все отчаянней становился ее вой.

Я подошел к окну и невольно задрожал при виде странной прыгающей тени моей собаки. Она точно взбесилась — до того странны и непонятны были ее движения. Она кидалась на кого-то невидимого и будто старалась его схватить. Но никого не было далеко вокруг.



«Она хочет, кажется, помешать дьяволу войти», — проговорил я громко. Я старался шутить, но состояние, в котором я находился, только что прочитанный рассказ, этот ужасный вой Тайны, ее необъяснимое бешенство, мрачные горы и вся обстановка моей комнаты вызывали во мне волнение, которого я не мог побороть.

Я отошел от окна, сделал несколько шагов по комнате и остановился перед зеркальным шкапом. Невольно я отшатнулся — я был бледен, как мертвец. И туг, да, — слушайте, слушайте, я это сделал! Я позвал *его* от всего сердца, со всей силой отчаяния. Я умолял его помочь мне. Я хотел еще жить, я был молод. Я любил! Я хотел богатства ради нее, ради той, кому я отдал всю свою душу. Да, слышите ли вы! Я призвал помощь дьявола для того, чтоб овладеть ангелом!

И вдруг... рядом с моим бледным лицом обрисовалось другое, смутное, как призрак... И два глаза, горящих, как огонь, впелись в меня, и я услышал голос: «Открой, открой... если смеешь!»

Но я стоял неподвижно, не имея сил двинуться с места. И тогда кто-то стукнул в дверь шкапа три раза, и она медленно раскрылась... сама...

И вдруг, словно в ответ рассказчику, раздался сильный стук в наружную дверь. Да, в тот самый момент, когда хозяин с безумным ужасом в глазах, весь охваченный воспоминанием, произнес эти слова, в дверь залы постучались три раза, — и этот стук болезненно отдался в наших сердцах и заставил нас всех вскочить с места.

А хозяин, как окаменелый, прислонился к стенке, чтобы не упасть.

И вот дверь вдруг медленно открылась сама... Ветер со стоном и воем пронесся по комнате... и на пороге появилась чья-то фигура в плаще и большой шляпе, надвинутой на самые глаза. Человек с минуту неподвижно стоял на пороге, потом снял шляпу и плащ, и мы увидели перед собой угрюмую фигуру горца.

— Это ты стучал, Гильом? — спросил хозяин, немного придя в себя. — Как же ты вошел? Разве дверь не была за-

перта на засов? Запри ее хорошенько!

И потом прибавил:

— Я не ждал тебя сегодня. Ты был у нотариуса?

— Да, хозяин, и я приехал, чтоб отдать вам деньги.

Он подошел к столу, вынул из кармана целую кипу бумаг, положил их па стол и молча глядел на своего хозяина.

— Чего ж ты ждешь? — спросил тот.

Гильом кивнул на нас.

— Успокойся. Эти господа мои друзья.

Гильом удивленно взглянул на нас. Он, очевидно, никогда не мог подумать, что у его хозяина есть друзья. Молча вынул он из кармана конверт, достал оттуда деньги, пересчитал и подал их старику. Денег было двенадцать тысяч.

— Хорошо, Гильом, — сказал хозяин, складывая деньги в конверт. — Да ты, верно, голоден? Пойди к своей сестре. Она накормит тебя. Ты здесь ведь будешь ночевать?

— Нет, я пойду на ферму. Мне надо с рассветом подняться. Есть дело. А вот поужинаю я охотно. — И он пошел к двери в кухню.

— Ты забыл свои бумаги, — крикнул ему вслед хозяин.

— И правда! — сказал Гильом и начал их складывать, в то время как его хозяин, положив конверт с деньгами в бумажник, спрятал его в карман.

Как только управляющий ушел, Макоко, которого этот прозаический эпизод не отвлек от таинственного рассказа нашего хозяина, с нетерпением спросил его:

— Что ж дальше?

— Дальше... — медленно произнес хозяин.

— Да, да! Когда дверь шкапа открылась!

Хозяин помолчал и потом, словно решившись, сказал:

— Я обещал вам все рассказать. Слушайте же! Дверь шкапа открылась, и я увидел... О, я как сейчас помню весь этот ужас! Внутри шкапа, на стене, было начертано четыре слова. Огненные буквы ослепили меня. Я прочел:

«Ты всегда будешь выигрывать».

— Да, — прибавил он глухо, — дьявол проявил себя. Я не напрасно звал его. «Ты всегда будешь выигрывать», — ведь это то, чего я так страстно желал, зачем я звал его всей силой воли! И он не заставил себя долго ждать. Он сейчас же явился. О, дьявол всегда слишком близко. И он всегда рад купить нашу душу. А за ценой он не стоит. Я хотел богатства и роскоши, и он сказал мне: «Ты всегда будешь выигрывать!»

Этот ответ на мою мольбу заставил меня похолодеть от ужаса... Что было со мной потом, я не помню.

Утром Аппензель нашел меня без чувств перед шкапом.

Придя в себя, я вспомнил все, что произошло ночью. О, я не забывал этого с тех пор ни на одно мгновение. Всюду — днем, ночью, даже с закрытыми глазами — я вижу эти слова. Они горят огнем в моем мозгу!

Старик замолчал. Стон вырвался из его груди, и он сжал руками голову.

Макоко и Матис в ужасе отошли в противоположный угол залы. Аллан и я наблюдали за нашим хозяином с бесконечной жалостью.

«Вот, — думали мы, — до чего доводит страсть к игре».

Аллан подошел к нему.

— Сударь, — сказал он, — очевидно, вы были жертвой галлюцинации.

Старик поднял голову.

— Я сам так думал, — ответил он. — Это было моей первой мыслью, когда я очнулся.

«Это была галлюцинация, — сказал я себе. — Остановись же на краю пропасти, — иначе ты дойдешь до сумасшествия. Это кошмар. Кошмар! И это лицо в зеркале рядом с твоим, эти глаза, призрак дьявола, все это — плоды твоего воображения, это только галлюцинация. Как можешь ты верить в то, что видел дьявола?»

В это время в мою комнату вошел старик Аппензель. Вид у него был очень встревоженный.

«Хозяин, — сказал он, — случилась невероятная вещь, ваша собака онемела!»

«Да, знаю! И она будет молчать до того дня, когда *он* опять вернется».

Кто, кто произнес эти слова? Я? Да, это был я, но моими устами говорила какая-то другая сила. Аппензель удивленно взглянул на меня. А я невольно перевел свои глаза на шкаф. Очевидно, Аппензель перехватил мой взгляд, потому что он сейчас же сказал: «Да, когда я утром нашел вас возле шкапа, он стоял, наклонившись к вам, и я испугался, что он упадет на вас. Дверь была открыта. Я ее запер, но поправить шкаф у меня не хватило сил, и, взгляните, он и теперь будто падает».

Я выслал слугу из комнаты и, как только он вышел, бросился к шкапу, раскрыл его и, господи, вы поймете весь мой ужас: слова были там, словно выжженные на внутренней стене:

«Ты всегда будешь выигрывать».

Я кинулся за Аппензелем. Когда я пришел, я попросил его открыть шкаф и посмотреть, что в нем. Он взглянул и с удивлением прочел: «Ты всегда будешь выигрывать».

Как безумный, выбежал я из комнаты и кинулся в горы. Целый день пробродил я по лесу. Вернулся я поздно вечером успокоенный. Я решил, что собака могла онеметь вследствие какой-нибудь непонятной мне, но совершенно естественной физиологической причины. А что касается слов, начертанных в шкапу, то сами собой они, конечно, появиться не могли. Я только что приехал в замок, где до сих пор никогда не был; значит, и шкапа этого раньше не видел. Мало ли кто мог написать там эти слова, давным давно, вследствие какой-нибудь истории, которая вовсе и не касалась меня.

Спать я лег в той же комнате и ночь провел совершенно спокойно.

Утром я отправился в Шо-де-Фон к нотариусу. Вся эта история с галлюцинацией дала мне мысль еще раз попробовать счастья, в последний раз. «А умереть я всегда успею», — думал я. О дьяволе я совершенно забыл.

Я получил за свою землю несколько тысяч франков и сейчас же уехал в Париж.

Когда я поднимался по лестнице игорного дома, я вспомнил вдруг о своем кошмаре и, иронически усмехаясь, подумал: «Ну-ка, посмотрим, исполнит ли дьявол свое обещание?»

Я сел играть, и сразу же мне повезло. Я выиграл, и через некоторое время у меня было уже двести пятьдесят тысяч. Со мной уж боялись играть. Я сорвал банк. Никто не захотел больше продолжать игру. Тогда я стал играть так, без денег, для забавы, и странное дело — я все время проигрывал.

Опьяненный своим неожиданным счастьем, я ушел из клуба. Но, очутившись на улице, я опомнился, и меня охватило беспокойство. Мне показалось странным совпадение моего кошмара с моей удачей. И я вернулся в клуб. Я хотел испытать еще раз... И я испытал! Я опять выиграл! Ужас охватил меня. Я стал играть, играть без конца, стараясь проиграть хоть один раз... Я только выигрывал! И когда я ушел из клуба, у меня было два миллиона частью наличными, частью на слово. И что меня поразило, так это то, что если игра была шуточная, без денег, я неизменно ее проигрывал, но стоило поставить против меня хоть десять су, они переходили ко мне. Я больше никогда не мог проиграть.

Проклятье! Восемь дней продолжалось это. Я ходил в самые ужасные притоны, я делал все, чтоб проиграть, но я выигрывал, выигрывал даже у профессиональных шулеров. Проклятье! Я всегда выигрывал!..

А, вы уж не смеетесь теперь, господа? Да, никогда и ни над чем не надо смеяться!

Что, теперь вы верите, что я видел дьявола? Ведь у меня было явное доказательство нашего гнусного договора, по которому я продал ему свою душу, — это мое нечеловеческое и вечное счастье в игре... вечное, неизменное до самой смерти! Смерть! О, да ведь я даже не смел больше желать ее! Я боялся ее теперь, боялся того, что ждет меня там, после...

Выкупить у дьявола мою душу, выкупить хотя бы самой ужасной ценой, — это все, чего я хотел теперь. Я ходил в церкви, я ночи проводил на паперти, разбивал в иступлении лоб о священные плиты; я умолял Бога дать мне проиграть

с таким же отчаянием, как тогда я умолял дьявола помочь мне выиграть. А из церкви я бежал в игорный дом с надеждой, что теперь я проиграю, но все было напрасно. Я неизменно выигрывал».

Старик замолчал. Голова его упала на грудь. Казалось, будто какое-то ужасное видение охватило его и унесло далеко от нас. Несколько минут прошло в молчании.

— И что же вы? — тихо спросил Матис. — Как могли вы жить после этого ужаса? Как у вас хватило сил?

Старик поднял голову.

— Господа, — сказал он, — я вырос в очень верующей семье. И те годы, которые я так безумно проводил в кутежах, не совсем погасили во мне веру. И когда я опомнился, у меня остался только один страх, безумная боязнь, что я навсегда потерял свою душу. Я не остановился бы ни перед чем, даже перед самой ужасной жертвой, чтобы выкупить ее. Я говорил уже вам, что я любил и что эта любовь была главной причиной моего проклятого договора. Я знал, что теперь, с моим богатством, я могу надеяться получить руку той, кого я любил больше всего в жизни. Но ни одной секунды не остановился я на этой мысли. Ни за что в мире я не связал бы теперь ее судьбы с моим проклятым существованием! И я отдал свое сердце Богу, я раздал все, что выиграл, бедным, и с тех пор живу здесь один в ожидании смерти, которая не приходит... и прихода которой я боюсь.

— И вы никогда не играли с тех пор? — спросил я.

— Никогда!

Аллан понял мою затаенную мысль. И ему тоже, как и мне, пришлось в голову вывести старика из его заблуждения. Оба мы были готовы счесть его за безумного.

— Я уверен, — сказал Аллан, — что после такой жертвы вы прощены. Вы много выстрадали. И Богу, конечно, достаточно вашего искреннего раскаяния. На вашем месте, знаете, я бы попробовал...

— Попробовал? Что? — вскричал старик.

— Я постарался бы узнать, выиграю ли я и теперь.

Старик бросил на Аллана взгляд безумной ненависти.



— Вы мне это советуете? Но кто же вы, что даете мне подобный совет? Кто вас послал? Кто вас послал сюда? О, вы не знаете, сколько мук вытерпел я за эти пятьдесят лет. Как часто хотел я испытать, прощен ли я. Чтобы удержаться от этого, мне нужны были нечеловеческие силы, — больше, чем нужно сил умирающему от голода оттолкнуть милосердную руку, которая протягивает ему кусок хлеба.

— Милосердие... — начал я.

— Вы это называете милосердием, — закричал старик, — предложить мне карты и сказать: играй! — И, помолчав, он тихо прибавил:

— А если я проиграю?

— Вы выиграете следующую игру,

— А если я опять проиграю?

— Мы будем продолжать, и я уверен, что вы когда-нибудь выиграете.

Я не ожидал, что мои неосторожные слова вызовут такой ужасный гнев. Старик побагровел, на его губах показалась пена.

— Итак, это все, что вы вынесли из рассказа о несчастье, сильнее которого нет на земле? Вы хотите заставить меня играть, чтоб доказать, что все это бред? Ведь я читаю ваши мысли. Вы думаете, что я сумасшедший!

— Нет, мы все...

— Молчите! Именем Бога! Вы лжете! Вы не поверили ни слову из моего рассказа. Я — безумный, по-вашему. Я вам говорю, что я видел дьявола. И я докажу это. Карты! Дайте мне карты!

Он увидел их на столе.

— Вы этого хотели. Я надеялся умереть, не узнав хоть при жизни, сохранился ли наш договор. Я думал встретить смерть спокойно, с надеждой, что я прощен. Но вы не захотели этого. Так пусть же Божий гнев падет на вас. Пусть дьявол возьмет и ваши души. Начнем же. Только сам я не дот-

ронусь до карт. О, я вам говорю, что я выиграю!

Аллан спокойно смешивал карты.

— Мы увидим, — сказал он.

— Да, — повторил я, — мы увидим.

Макоко встал между нами и стариком. Он испугался его гнева, да и вообще вся эта затея ему очень не нравилась.

— Не делайте этого, — взволнованно сказал он. — Я вас прошу, не играйте!

— Да, — прибавил Матис. — Оставьте его в покое. Берегитесь. Не надо никогда дразнить дьявола.

— Убирайтесь вы оба со своим дьяволом! — ответили мы. — Сударь, начнем же!

Мы уселись против хозяина.

— Во что мы будем играть? — спросил я.

Старик ответил глухим голосом:

— Мне все равно. Я только предупреждаю вас, — вас, которые хотят отнять у меня последнюю надежду, — что я вас разорю.

Он вынул свой бумажник, в который спрятал тогда деньги, и положил его на стол.

— Это для начала, — сказал он. — Я еще раз повторяю, что вы будете разорены. Мы будем играть до тех пор, пока я не выброшу вас за дверь обоих, проигравших все, что только у вас есть.

Аллан засмеялся:

— Вплоть до наших сорочек?

— До ваших душ, которые я отдам дьяволу в обмен на свою! — с ненавистью сказал старик.

Макоко и Матис снова начали убеждать нас бросить свою затею, но старик прервал их и властным голосом призвал к молчанию.

Игра началась. Я улыбался, хотя в душе чувствовал смутную тревогу. На лице старика выражалось волнение, которое он тщетно старался сдержать.

Счастье склонялось на нашу сторону. Аллан не удержался.

— Мы выигрываем, — сказал он, — и вы увидите, что можете проиграть, как самый обыкновенный смертный.

— Я не могу проиграть! — ответил старик.

Игра продолжалась. Все следили за ней, затаив дыхание, а за дверьми выл ветер и, казалось, стены замка дрожали от его ярости

Оставалась последняя карта. Я открыл ее — это был король. Мы выиграли!

Я не забуду крика старика, — крика радости, такой безумной, что она походила на отчаяние. Он повторял:

— Я проиграл! Проиграл! Боже мой! Возможно ли? Я проиграл!

Аллан опять не мог сдержаться.

— Видите, — сказал он, — никогда не надо верить всему, что рассказывают про дьявола.

Старик, плача от счастья, подошел к нам.

— Да благословит вас небо! Вы дали мне надежду, что я могу быть прощен! Я благословляю ту минуту, когда вам пришла в голову эта мысль, когда вы захотели проверить мои слова. Скорей! Вот, возьмите эти деньги! Как бы я хотел, чтоб их было гораздо больше!

И он открыл свой бумажник, вынул из него все бумаги и вдруг остановился.

Пораженный, он заглянул внутрь, потом лихорадочно перевернул его, начал трясти, но напрасно: денег в нем не было. Он далеко отшвырнул его от себя. В отчаянии впился он ногтями в свое лицо, и крупные капли крови показались на его щеках.

Что касается нас, мы были совершенно поражены — все мы ясно видели, как старик положил конверт с деньгами в бумажник. Матис и Макоко, успокоенные было тем, что выиграли мы, — а они в своем воображении видели уж нас проигравшими и чуть не раздетыми догола — теперь опять заволновались.

А старик с отчаянием умолял нас искать деньги, разорвать бумажник, чтобы легче было искать, но мы ничего

не нашли. Ничего...

— Слушайте, слушайте! — вдруг проговорил старик. Ужас был на его лице.

— Что?

— Как странно воет ветер. Вы слышите? Будто лает собака.

Мы прислушались. Действительно, вой ветра походил теперь на лай собаки.

И вдруг все мы вздрогнули. Кто-то потряс дверь, и слышался голос:

— Откройте!

Хозяин знаком велел нам оставаться на местах.

— Откройте! — снова повторил голос.

Аллан громко спросил:

— Кто там?

Макоко схватился за ружье.

— Перестань! — сказал я ему. — Ведь это смешно.

И я пошел к двери.

— Не открывай! — крикнули Матис и Макоко.

Но я уже отодвинул засов. Кто-то рванул дверь... и в комнату вбежал управляющий. Он казался очень взволнованным.

— Хозяин! — сказал он прерывающимся голосом.

— Что такое? Скорей! — сразу вырвалось у всех нас.

— Хозяин... ведь я их отдал вам... эти господа свидетели... Вы положили их в свой бумажник... эти деньги... — голос его прерывался.

— Да, да, мы все это видели. Дальше!

— И вот они у меня. Я не знаю, как это случилось. Возьмите. Я еще раз отдаю их вам.

Гильом вынул деньги и положил их на стол.

— Я останусь ночевать в замке, — прибавил он. — Я не знаю, что с горами сегодня. Но они какие-то странные, и мне жутко быть там.

Он вышел.

Теперь эти двенадцать тысяч лежали на столе. И странно, они возбуждали в нас какое-то необъяснимое чувство страха. Казалось, они шевелились. Мы не знали, что думать, не могли ничего понять. Нам трудно было поверить, но и не верить мы тоже не могли.

Хозяин прервал молчание:

— Теперь они здесь. Следите за ними. И не трогайте, пока не кончится игра. Скорей! Дайте карты. Слышите! Скорей карты! Я должен знать!

И он силой усадил меня, сунул мне в руки карты, а сам сел напротив. Он весь дрожал. Все столпились вокруг, взволнованные, выжидающие.

За дверьми ветер выл и стонал. И вдруг, словно в ответ ему, в комнате раздался стон, такой громкий и отчаянный, что, казалось, даже ветер стих на мгновение, прислушиваясь. Это застонал хозяин — он выиграл!

О, если б можно было это забыть! Он схватил карты, порвал их, бросил в огонь. Потом он быстро кинулся к двери, и вдруг за ней ясно послышался лай собаки, вернее — бешеный ее вой.

— Это ты, Тайна? — тихо проговорил старик. — Ты заговорила?

Сразу все смолкло. Ни одного звука не долетало в комнату.

Старик тихо отодвинул засов. В ту же минуту словно чья-то невидимая рука рванула дверь, и со двора опять послышался продолжительный и отчаянный лай. Ужас сковал нас.

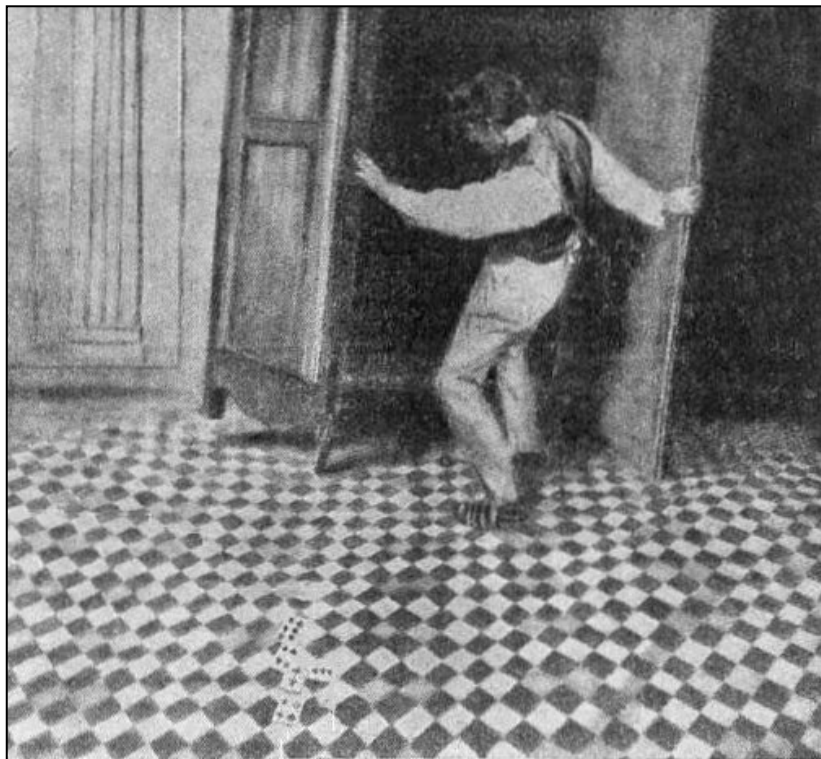
А хозяин быстро закрыл дверь, задвинул засов и уперся в нее руками, будто стараясь помешать кому-то открыть ее. Он был бледен, как смерть. Дыхание с трудом вылетало из его груди.

Наконец вой собаки стих, вернее — оборвался каким-то страшным визгом, и все смолкло, буря умчалась дальше. Старик повернулся к нам, сделал несколько неверных шагов по комнате и медленно проговорил:

— Берегитесь, — *он* вернулся!

И, не глядя на нас, он вышел из комнаты.

Разошлись и мы. Аллан ушел спать к свою комнату, Макоко и Матис остались в зале, а я, влекомый какой-то неведомой силой, не отдавая себе отчета, очутился в «проклятой комнате».



Машинально подошел я к полке, взял книгу, открыл и прочел первые две строчки, написанные красными чернилами, те самые, о которых говорил нам хозяин. Потом я подошел к окну. Ветер давно разогнал тучи, и луна заливала бледными лучами пустынную и унылую окрестность. А под моим окном металась и бешено прыгала огромная тень собаки. Это была Тайна. Она будто старалась схватить кого-то, кого — я не мог видеть. Она широко открывала пасть, и... да, я уверен, что я слышал ее лай. Мне стало жут-

ко. Я прошелся по комнате, потом взял свечу и подошел к зеркальному шкапу. Я глядел в зеркало и думал о том, кто начертал внутри его те слова.

И вдруг... Что это? Рядом с моим лицом я увидел другое, бледное, нечеловеческое, будто прикрытое какой-то неясной дымкой. Два горящих глаза взглянули прямо на меня... Я хотел крикнуть, но ни одного звука не вылетело из моего сдавленного горла... И в дверь шкапа послышался стук... кто-то стукнул изнутри... три раза... И моя рука, моя любопытная рука потянулась к двери...

В это время кто-то сильно сжал ее и отдернул от шкапа. Я обернулся — передо мной стоял наш хозяин, бледный, как смерть. И я скорей понял, чем услышал его слова: «Не открывайте».

Едва забрезжило утро, мы поспешили уйти из замка, даже не повидав хозяина. И к вечеру деньги, которые мы проиграли, были ему отосланы.

Он вернул их нам с следующим письмом:

«Мы квиты. Ведь первый раз выиграла вы. И все мы были уверены, что играем на деньги. Я не возьму их у вас. Дьявол владеет моей душой, но чести я ему не продавал».

Но нам неприятно было оставить у себя эти деньги. И мы решили отдать их на госпиталь в Шо-де-Фон, который строился в это время и который удалось кончить только благодаря нашему дару.

Но едва его достроили, как однажды ночью он сторел дотла. К счастью, в это время там еще никого не было, и пожар обошелся без человеческих жертв.

Шарль Фолей

ВОДЫ МАЛИРОКА

Благосклонно улыбаясь, мадам Гебель предоставила мне полную свободу вести задушевную беседу с моей очаровательной невестой Лионеттой. Гюи, мой будущий *beau-frère**, избалованный десятилетний мальчик, тоже вел себя против обыкновения очень мило и не прерывал ежеминутно своими расспросами нашей тихой беседы; словом, все было прекрасно и наша последняя экскурсия в дикие горы Оверни оканчивалась на этот раз необыкновенно приятно.

Мы только что проехали через мост Немат, и кучер готовился повернуть направо по живописной дороге, ведущей в Себрейль, желтой лентой извивающейся по берегу Сиуми, как вдруг Гюи, поглощенный до сих пор изучением Бедекера, поднял голову и закричал с своим обычным апломбом:

— Кучер, остановитесь! Знаете ли вы, каких-нибудь двадцать оборотов колеса и вы, друзья мои, проехали бы, не подозревая этого, мимо знаменитой долины Малирока! Там налево, в глубине этого узкого ущелья, среди древних развалин римских терм находится удивительный, необыкновенный источник...

— Необыкновенный — почему?

— Слушайте дальше. «Источник бьет ключом из самого утеса, — читал он по Бедекеру. — Он содержит большое количество извести, железа, магнезии и углекислоты. Газ на воздухе выделяется, а известковые частицы, растворенные в воде, быстро высыхая, разлетаются мелкой пылью. Этот беловатый осадок покрывает также на всем протяжении дно ручья родом каменной замазки, которая постоянно утолщается. Известковая пыль, покрывая предметы, также со временем твердеет, въедается в них и превращает их в камень. Этот все превращающий в камень источник Малирока составляет одну из самых редких достопримечательностей Ев-

* Шурин (*фр.*).

ропы...» Итак, неужели мы уедем в Париж, не увидев этого чуда природы?

— Поздно, — заметил я. — Вот уже сумерки, поднимается туман. Лучше не будем осматривать Малирок сегодня, а вернемся в Себрейль.

— Еще нет шести часов, — горячо возразил Гюи. — Что мы будем делать в отеле в ожидании обеда? Небольшой крик, который мы сделаем, не заставит нас сильно запоздать.

Юный Гюи был добрый мальчик, но капризный и довольно своенравный; зная его нежную любовь к сестре, которую я, так сказать, узурпировал, и пользуясь до сих пор его благосклонностью, я не желал и на этот раз идти наперекор его желанию и потому, не возражая больше — ждал, что скажет мадам Гебель, когда Гюи повернулся к кучеру и приказал:

— Везите нас скорее к источнику Малирока!

Молодой овернец, в продолжение всей прогулки охотно исполнявший все его желания, получив это приказание, недовольно передернул плечами и с досадой проговорил:

— Там ничего нет интересного для господ. Развалины и лачуги в них нанимают какие-то бродяги, неизвестно откуда пришедшие. Они живут там, как медведи в берлоге; они всюду поставили загородки, чтобы нельзя было пройти в развалины, так что вы все равно ничего не увидите.

— Мы приручим этих медведей! — вскричал Гюи, не задумавшись. — Мамочка, я тебя умоляю, пойдем, посмотрим! Это должно быть так интересно, подумай только, источник, все превращающий в камень!

— Туда никто давно уже не ходит, — настаивал овернец, и не думая поворачивать лошадь в указанном направлении. — Да, кроме того, лошадь моя устала, а дорога туда очень плохая.

Я вступился, видя, что мадам Гебель желает исполнить просьбу сына.

— Если дорога плоха, поезжайте шагом.

— Хорошо, — проворчал овернец с видимым отвращением, — так как вы непременно этого желаете, я отвезу вас в это проклятое место...

Нехотя он тронул лошадь и, проехав узкий овраг, мы углубились в ущелье, сдавленное высокими гранитными скалами, поросшими кое-где кустарником; и сейчас же сделалось темнее. После широких, солнечных ландшафтов Сиуми нам показалось, что мы погружаемся в холодный могильный мрак.

Лионетта дрожала, прижавшись к моему плечу. Я взглянул на кучера: он был бледен и с беспокойством озирался вокруг. Мадам Гебель плотнее завернулась в свою накидку.

Мы вдруг замолчали, чувствуя какое-то неопределенное, но ужасное увеличивавшееся давление и беспокойство.

Вдруг овернец решительно остановил лошадь и сурово проговорил:

— Экипажем дальше нельзя проехать, дорога за этим поворотом очень грязная, а лошадям нужно отдохнуть. Впрочем, вам стоит пройти шагов пятьдесят, и вы увидите развалины. Я подожду вас здесь! — Говоря это, он соскочил на землю, вытащил из-под козел попону и прикрыл ею тяжело дышавшую, окруженную облаком пара лошадь.

Я рассердился на его своеволие и начал было бранить, но Лионетта положила свою маленькую ручку на мой рукав, шепча своим ласковым голоском:

— Друг мой, прошу вас... Пусть этот чудный день окончится мирно! Пойдем пешком к источнику... это нас согреет.

Мы, все четверо, вышли из экипажа. Идя к развалинам, я заметил, что дорога была совершенно суха. Кучер солгал...

II

Сквозь листву в глубине расширяющегося, дико заросшего ущелья мы скоро заметили слабо вырисовавшиеся, полускрытые туманом развалины римских терм.

Скалистая гряда скрывала заходящее солнце.

Это был час, когда все принимает странные, фантастические очертания в слабом, неверном свете сумерек. Полу-

разрушенные хижины и какие-то клетушки, разбросанные между руинами, производили самое жалкое впечатление.

Устроенный между двух изгородей полусгнивший барьер уступил первому толчку, и мы проникли на лужайку, где виднелись лачуги.

По дороге терновник, волчец и другие колючие растения беспомощно цеплялись за нашу одежду, как бы умоляя нас возвратиться.

Отвратительные испарения, издаваемые высокими травами, в которых фильтровались воды источника, наполняли воздух туманом и придавали местности особую, таинственную окраску. Гюи, принявший на себя роль проводника, отважно шел впереди.

Вдруг он вскрикнул и бросился ко мне, указывая дрожащей рукой на темные деревья, под низко свисавшими ветвями которых белелись в молочном тумане какие-то странные, прозрачные фигуры. Когда мы подошли ближе, то оказалось, что расставленные в этом мрачном месте странные предметы — были фигуры различных животных, сделанные, по-видимому, из гипса и покрытые плесенью и лишаями. Утки, гуси, индюки, собаки, кошки, овцы, даже маленькая лошадка, все эти животные, казалось, были остановлены, схвачены в самый разгар их жизненной деятельности и рукой злого чародея в один миг превращены в статуи, так естественны были их позы, такое безграничное изумление перед неведомой силой видно было в каждом застывшем их движении. Белизна и неподвижность их, являясь резким контрастом с их, казалось, только что дышавшим телом, производили ужасающее впечатление. Тень, падающая от ветвей, придавала белым, слепым глазам животных выражение скорби, ужаса и невыразимого отчаяния.

— Право, можно подумать, что живые животные послужили для их отливки, — заметила взволнованным голосом моя невеста.

Мадам Гебель долго смотрела на эти удивительные изображения и, покачав головой, тихо проговорила:

— Настоящий зверинец привидений, выставленный в месте скорби и ужаса! Я начинаю жалеть, что мы пошли сюда...

В эту минуту из-за ближайшей лачуги выскочили две темные человеческие фигуры, видимо, поджидавшие нас.

— Господа, любятя нашими статуями? Если они пожелают почтить нас своим посещением, мы покажем им других, еще более интересных.

Вульгарное лицо и лукавый тон женщины мне ужасно не понравились, когда же я обернулся к ее спутнику, то вздрогнул от отвращения. Его худоба, грязные лохмотья, высохшие синие губы и безумный блеск глаз, — все обличало неисправимого алкоголика. Его отрывистая речь и судорожные жесты составляли полную противоположность с вкрадчивой манерой и умильной речью женщины.

Она так настойчиво приглашала посмотреть их «музей», что мадам Гебель с детьми последовала за ней в развалины. Я пошел сзади в сопровождении их странного обитателя.

— Мы живем так уединенно, что это, действительно, удовольствие показать кому-нибудь наше заведение... в особенности парижанам! — льстиво рассыпалась женщина перед мадам Гебель. — Как только я увидела прелестную барышню и этого хорошенького маленького господина, я сейчас же сказала мужу: «Вот это парижане, как и мы, они сумеют оценить наше искусство!» Не правда ли, Гюст?

— Верно и несомненно! Уж, конечно, не в этой несчастной норе можно найти таких прекрасных детей...

Их откровенное восхищение покорило материнское сердце мадам Гебель, а Гюи, оправившись от испуга и видимо польщенный, позволил женщине взять себя за руку.

— Пойдемте, милочка. Видите эту собаку... а взгляните на ягненка, разве это не достаточно натурально, не правда ли? Так и кажется, вот сейчас один заблеет, а другая залает?..

Гюи, очевидно, все забавляло; мать и сестра следовали за ним, снисходительно улыбаясь его удивлению и восторгу, а спутник мой в это время объяснял мне, порывисто жестикулируя:

— Все эти фигуры, — это мои произведения! Все! Приглядитесь только, как они художественны! На будущий год у меня будет полный ассортимент, не только изображения зверей, но и людей в натуральную величину. Все помещи-

ки из окрестностей будут приезжать ко мне, чтобы приобрести статуи для украшения своих вилл и парков. Малирок будет знаменит! Свои произведения я буду продавать на вес золота!

Последнюю фразу он, увлекшись, прокричал громко. Жена его, обернувшись, сочла нужным предупредить меня:

— Не обращайтесь внимания... Мой муж кажется на первый раз немного странным, но это не опасно. Он делается злым, только когда выпьет чересчур много. Когда мы жили в Париже, он работал у самых известных скульпторов. Все несчастье в том, что его патроны завидовали его таланту и нарочно обходились с ним, как с обыкновенным рабочим... А ведь он артист! Это в конце концов извело бедного Гюста и... перевернуло у него в голове...

Она опять начала что-то объяснять мадам Гебель, а ее муж, все более воспламеняясь, продолжал:

— Этот осадок, сударь, лучше всякого камня, все равно, что мрамор! Но это второстепенно, а главное в этом деле, как и во всем — это выбрать модель, иметь идею, вкус. И у меня есть эта идея, идея артиста, гениальная идея! Они меня считали простым рабочим, бездарностью, а вот я им покажу! Весь мир узнает со временем, какой великий гений скрывается здесь, в глубине Оверни, у волшебных вод Малирока!..

Он ораторствовал, с ожесточением размахивая руками. Я угадывал в его словах крайне раздраженное тщеславие, невыносимую злобу на то, что, вместо того чтобы творить самому, он долгое время принужден был только обтесывать вчерне глыбы мрамора для своих знаменитых патронов. Не имея таланта, он, очевидно, мнил себя артистом, и вот вся желчь неудачника при помощи алкоголя вылилась наконец в безумие. Он затрагивал вопросы эстетики, смысла которых даже не понимал. Подняв глаза к небу и махая руками, он болтал вздор об искусстве, вечной красоте, повторяя:

— Зачем подражать природе, которая неподражаема? Не представляется ли она везде и сама по себе во всем; в растениях, животных, во всех своих бесчисленных творениях?

Достаточно ее схватить в ее проявлениях, закрепить их, увековечить, обессмертить во всей их красоте! Вот это и есть моя гениальная идея... это секрет Малирока!

Этот безумный Гюст начинал мне страшно надоедать. Вдруг он толкнул <меня> локтем и, указав на шедших рядом Гюи и Лионетту, сказал, причем мутные глаза его загорелись хищным желтым огнем:

— Вот сама природа! Какой Фидиас мог бы сотворить подобный *chef-d'oeuvre!**

Но это уже переполнило меру моего терпения и я, бросив его, ушел догонять дам.

— Теперь источник, посмотрим источник! — перебивал Гюи.

Женщина повела нас через обломки и кучи отбросов к самой отдаленной части ограда. Грязно-белые, похожие на осадок соли пятна на траве указывали на разлитие воды. Ручей струился, дымящийся, беловато-мутный, между берегов, покрытых этим каменистым налетом, моментально твердевшим на воздухе. Местами течение преграждали предметы, покрытые до неузнаваемости каменистыми отложениями. Под водяной пылью и ядовитым пеплом зелень вокруг сгорала и покрывалась ржавчиной.

— Идите посмотреть на грот! — кричал Гюи.

Руководимые светом фонаря, зажженного женщиной, мы проникли в сводчатую пещеру, вход в которую закрывался деревянной, грубо сколоченной дверью. В глубине из скалы бил источник. Вода, захваченная, как в трубу, в выдолбленный ствол дерева, выливалась через него на пол грота, образуя маленький бассейн, а затем, прежде чем излиться в широкий желоб наружу, журча, орошала различные предметы, установленные по краям бассейна. Таким образом, непрерывно обливаемые водой, эти предметы мало-помалу покрывались беловатым слоем быстро твердевшей извести. Кисти винограда, фрукты в корзине, ветки остролистника, белка и куница были уже наполовину гото-

* Шедевр (*фр.*).

вы, а три маленьких птички, зябко и сиротливо сидевшие в гнездышке, окончательно окаменевшие, сохли в стороне.

— О, какой хорошенький выводок... Посмотри, мама! — воскликнул в восхищении Гюи. — Скажите, неужели вы этих бедных птенчиков живых обратили в камень?

Женщина не ответила на его вопрос, но поспешила отворить решетку налево от источника, соединяющую грот с длинным сараем, который, по-видимому, и служил «музеем».

— Теперь, — проговорила она, умильно улыбаясь, — если бы господа были так добры бросить взгляд на наши коллекции. Не угодно ли, прошу вас. Вы найдете здесь за самую умеренную цену прелестные вещи: садовые украшения, статуэтки, украшения для этажерок, витрин или камина, множество артистически исполненных безделушек — все, что угодно. Господа, конечно, не уедут, не купив чего-нибудь в воспоминание о волшебном источнике Малирока! Мы, собственно, не ведем торговли, осмотр развалин и источника бесплатно; продажа наших произведений составляет наш единственный доход.

Сумасшедший Гюст запер на ключ дверь грота, а мы вошли в музей. Я решил купить несколько безделушек, чтобы положить конец настойчивым приставаниям женщины, желавшей, по-видимому, с возможно большей выгодой использовать наше случайное посещение. Взяв две камеи для мадам Гебель и моей невесты и кисть винограда для Гюи и расплатившись, я предложил немедленно возвратиться, пока не совсем стемнело, к ожидавшему нас экипажу.

— Как, сударь! Вы больше ничего не желаете взять? — проговорила женщина, видимо, сильно разочарованная. Потом, обращаясь к Гюи, которого, как она рассчитала, легче соблазнить, она показала ему гнездышко с птичками, подобное виденному нами в гроте.

— Разве эти птички вам не нравятся, мой прекрасный господин?

— О, да, сударыня, они мне очень нравятся, это великолепно... Но это, должно быть, очень дорого?

— Только двадцать франков. Почти даром. Вы ничего еще не купили для вашей сестрицы, мой маленький кра-

савчик; вот случай приобрести прелестную вещицу, едва ли вам представится когда подобный.

— Я бы очень желал, но я оставил свой кошелек в отеле в Себрейле. Мамочка, одолжи мне, пожалуйста.

— Нет-нет, — живо возразила мадам Гебель, найдя цену слишком высокой и боясь, что, поощренные таким образом, эти подозрительные люди сделаются еще навязчивее. — Нет, со мной нет денег, довольно тратить на пустяки... идем! — Она вышла с Лионеттой через дверь, выходящую на лужайку. Я повернулся, чтоб позвать Гюи, и увидел, что женщина завертывала в бумагу понравившееся ему гнездышко.

— Не надо огорчать этого херувимчика, — обратилась она ко мне с заискивающей улыбкой, — пусть он возьмет своих птичек; это не займет много места, он может спрятать их в карман. Я предпочитаю потерпеть убыток, лишь бы только доставить ему удовольствие; я уступлю вам эту вещицу за пятнадцать франков. Сто су больше или меньше для вас мало значит, и не захотите же вы из-за таких пустяков огорчать этого милашку!

Такое нахальство меня взбесило; я схватил Гюи за руку и, несмотря на его сопротивление, потащил к выходу.

— Вам сказали, что нам больше ничего не нужно. Довольно, оставьте нас в покое! — и я вышел, не обращая внимания на нелестные эпитеты, которыми награждала меня взбешенная мегера. Муж ее, услышав эти крики, тотчас же присоединился к ней и, поднимая руки к небу, осыпал нас проклятиями.

— Так не обходятся с артистом! — неистово вопил он, потрясая кулаками. — С таким гениальным артистом! Я не копирую природу, сударь, я ее увековечиваю заживо. Это секрет Малирока!..

Несмотря на мой грозный окрик, старая мегера все-таки следовала за нами, надеясь, вероятно, что я в конце концов уступлю и, нагибаясь к Гюи, шептала вежливо:

— Бедный херувимчик, вам неприятно, что вы не можете ничего подарить вашей сестрице... Я отложу для вас это гнездышко... Я его никому не продам!..

— Это бесполезно. Мы завтра уезжаем и, конечно, уже больше сюда не заедем! — проговорил я сухо и, не выпуская из рук вырвавшегося Гюи, я заставил его ускорить шаги. Быстро перейдя поляну, уставленную зверями-игрушками, мы присоединились к его матери и сестре.

Туман становился все гуще и холоднее. Мадам Гебель и Лионетта все ускоряли шаги, вздрагивая от сырости и тяжелого, гнетущего впечатления, которое произвели на нас развалины, мрачный сад со своими зверями-фантомами и отвратительная пара обитателей этого зловещего места. Гюи вырвал у меня свою руку и, надувшись, молча шагал впереди. Я понял теперь суеверный страх овернца, не желавшего везти нас к развалинам, и не сделал ему поэтому ни малейшего упрека, когда мы добрались наконец до экипажа. Мы все вздохнули свободнее только по выезде из ущелья.

III

На другой день мы весело позавтракали, несмотря на гневные взгляды, бросаемые на меня Гюи. Солнце и чудное утро рассеяли вчерашнее тяжелое впечатление. После завтрака каждый пошел укладываться, и к четырем часам я первый уже сошел вниз. Брек*, нагруженный нашими чемоданами, долженствовавший отвести нас на станцию Сен-Бонне, стоял уже у подъезда, и на козлах восседал сам хо-зяин отеля Перрен.

В ожидании дам я присел на скамейку, болтая с Перреном, как вдруг из вестибюля выскочил Гюи, толкая перед собой свой велосипед. Я невольно залюбовался на мальчугана, так он был красив с своим оживленным личиком и густыми золотистыми локонами, свободно рассыпавшимися по синему воротнику его матросского костюма. Он был

* Четырехколесный рессорный экипаж охотничьего типа.

очень оживлен и, казалось, уже забыл свое утреннее дурное расположение духа.

— Как только дамы сойдут, — сказал я ему, — мы можем ехать. Скажите Перрену, чтобы он уложил вашу машину в экипаж.

— Не нужно! — ответил он быстро, как-то насмешливо улыбнувшись. — Мама позволила мне ехать на станцию на велосипеде.

— До Сен-Бонне восемь километров, это будет для вас очень утомительно, мы можем из-за вас опоздать, а мадам Гебель, как вы знаете, решила ехать непременно с вечерним поездом.

— Восемь километров — пустяки! — вскричал он упрямо. — Я вас не задержу, наоборот, я буду на станции даже раньше вас. И потом, я уже вам сказал, мы условились с мамой, не задерживайте меня! — и, вскочив на велосипед, он покатил.

Минуту спустя появились мадам Гебель и моя невеста, мы уселись, и Перрен, ударив по лошадям, пустил их с места крупной рысью.

Вдали виднелся Гюи, изо всех сил нажимающий педали.

— Если он сохранит этот аллюр, то в самом деле придет раньше нас, — заметил я. — Знает он, где станция?

— Да, сударь, — ответил Перрен, — кроме того, мы три четверти пути сделаем по той же дороге, по которой вы ехали вчера. Кроме того, молодой господин расспрашивал у меня про дорогу. Впрочем, будьте спокойны, он, наверное, скоро устанет, и мы догоним его на первом подъеме.

Дорога, извиваясь, то спускалась, то поднималась, и мы два раза видели Гюи, удалявшегося с прежней скоростью; но когда мы поднялись, наконец, на последнюю возвышенность, его не было более видно.

— Bravo! — воскликнул Перрен. — Если наш молодой человек будет продолжать развивать такую скорость, то он, наверное, будет на станции минут на двадцать раньше нас!

— Пожалуйста, поезжайте скорей, господин Перрен, — попросила его мадам Гебель, — мне хотелось бы догнать

моего сына, я беспокоюсь.

— О, мама, — попробовала пошутить Лионетта, — ненадолго же достало у тебя храбрости! Если бы знала, какой у тебя встревоженный вид в эту минуту!

— Я в самом деле встревожена, не видя более Гюи, тем более, что мне вспомнилась одна его фраза сегодня утром...

— Что же такое он сказал?

— Представьте себе, сегодня утром... Но нет! Это просто воображение... я не хочу больше об этом думать.

Она торопливо заговорила о других предметах, но потом прервала себя и тяжело вздохнула.

— О, эта станция... эта станция... Мне кажется, мы никогда туда не приедем...

Ее тревога заразила и нас, и все примолкли.

Смеркалось, и пустынная дорога казалась нам бесконечной. Вдруг Перрен закричал:

— Успокойтесь, вот и Сен-Бонне!

Мадам Гебель привстала, напряженно всматриваясь туда, где в глубине тополей аллеи виднелся красный кирпичный фасад маленького вокзала.

Брек остановился перед станцией, но Гюи нигде не было видно. Я помог дамам выйти из экипажа и побежал справиться в зал первого класса, в отделение багажа, в кассу, словом, всюду, но везде получал ответ: никто не видал маленького велосипедиста в белом матросском костюме.

Возвратившись к мадам Гебель, я нашел ее бледной, как смерть, сидящей на скамейке с Лионеттой.

— Его нет? Вы ничего не узнали? — вскричала она. — Впрочем, не надо и спрашивать, это видно по вашему лицу! Боже мой, что с ним могло случиться?

— Мамочка, не волнуйся так! — успокаивала мать Лионетта. — Если Гюи нет здесь, значит он, верно, немножко заблудился и остался позади. Ведь еще довольно светло, беспокоиться нечего, он сумеет найти дорогу.

Мадам Гебель молчала, низко склонив голову. Я почувствовал, что фраза Гюи, о которой она упомянула дорогой, ее неотступно теперь преследует и, полагая, что это может дать некоторые указания, спросил:

— Повторите, пожалуйста, что сказал вам Гюи сегодня утром. Ведь эта фраза вас мучает, не правда ли?

Она тяжело вздохнула.

— Прося у меня позволения следовать за нами на велосипеде, Гюи имел очень озабоченный вид. Я видела по глазам, что у него есть какое-то желание, которое он не смеет высказать, но решила не настаивать, боясь, чтоб это не было что-нибудь вроде вчерашнего. Когда я дала свое позволение, он горячо обнял меня и прибавил небрежным тоном: «Скажи, мамочка, нравится тебе это окаменевшее птичье гнездо?»

«Да-да», — отвечала я, думая о другом и совершенно не придавая значения его словам. Он вздохнул:

«Я думаю, что Лионетте очень хотелось бы его иметь...»

— Знаешь, мама, — прервала ее дочь, — я тоже вспомнила: прощаясь вчера со мной, Гюи шепнул мне: «Твой жених подарил тебе камешку, а я ничего, мне это очень грустно». «Ничего, голубчик, ты в другой раз сделаешь мне какой-нибудь подарок», — возразила я весело, но Гюи покачал головой: «Нет, я не найду никогда ничего красивее того гнездышка».

Выслушав все это, я заключил:

— Гюи, очевидно, вернулся в Малирок, чтобы купить прельстившую его безделушку. Очевидно, его просто околдовали эти окаменевшие птички, к тому же обещание женщины отложить для него эту вещицу и желание сделать сюрприз сестре...

— Да, несомненно, вы угадали, все это должно было заставить решиться безумного мальчика! — закончила Лионетта. — Вместо того, чтобы ехать прямо, он свернул в ущелье. Хотите пари, что мы увидим его сейчас красного, запыхавшегося, с торжеством подъезжающего к станции со своей покупкой в кармане?

— Я не прощу ему такого своеволия; я разберу его, сильно разберу! — сказала мадам Гебель, оживленная словами дочери.

— Ну, это ты только говоришь, мама, да, пожалуй, и я сама, обрадованная его возвращением, расцелую его и спо-

собна даже, чтобы доставить ему удовольствие, находить великолепным это жалкое окаменевшее гнездо. А пока пойдем, сядем на скамейке, с которой видна дорога, чтоб скорее его увидеть.

— А знаете что, — предложил я, — брек еще там, и я лучше попрошу Перрена поехать навстречу Гюи. Мальчик, верно, порядочно устал и, верно, рад будет доехать в экипаже.

— А если в это время Гюи приедет другой дорогой?

— Ну что ж, только проедусь немного и дам лишних пять франков Перрену.

— Ну хорошо, поезжайте. Мы подождем вас здесь.

Обеспокоенный отсутствием мальчика, Перрен охотно согласился, и мы отправились.

Отъехав, я оглянулся, и сердце мое болезненно сжалось, глядя на прижавшихся друг к другу мать и дочь, дрожащих от ночной свежести и беспокойства и с глубокой тоской вперяющих взоры в длинную пустынную аллею.

IV

Отдохнувшие лошади быстро мчали легкий брек. Теперь я почти не сомневался, что Гюи вернулся в Малирок и, рассказав Перрену про нашу вчерашнюю экскурсию туда, выразил намерение, если мы не встретим по дороге нашего отважного велосипедиста, ехать в развалины и допросить их обитателей, на что Перрен, более развитой и решительный, чем наш вчерашний возница, беспрекословно согласился.

— Поверите ли, — сказал я, — вчера я должен был серьезно рассердиться, чтобы заставить вашего помощника отвезти нас к источнику: он, видимо, страшно боялся туда ехать.

— Не один он боится этого проклятого места, — серьезно отвечал Перрен. — Никто не рискует идти туда с тех пор, как там поселились эти парижане. Женщина — ведьма, а муж ее — сумасшедший. Они всюду должны и живут только воровством.

— А их торговля?..

— Они до сих пор еще ничего не продали никому. Их белые звери наводят только страх на всех.

— Но ведь им нужно платить за аренду?

— Они не заплатили даже и за одну треть, а матушка Матье, которой принадлежат развалины, не смеет их выгнать, боясь мести.

Очень понятно, что подобные сведения еще больше увеличили мое беспокойство.

— Но послушайте, Перрен, этот страх перед статуями граничит с суеверием...

— Если хотите, да... но все-таки это понятно. Скажите, сударь, разве их ремесло христианское? Пускай бы еще употребляли цветы и фрукты, но мучить бедных животных, заставлять их медленно умирать, обращая в камень, это...

— Как? Нет, вы ошибаетесь, Перрен, все это высечено из окаменевшего осадка.

— Вы в этом уверены? Разве этот старый безумец настолько талантлив, чтобы сделать фигуры так натурально? И что делает это еще более вероятным, так это то, что пастухи часто слышат по вечерам, как бедные животные кричат и стонут в развалинах. Это совсем не суеверие, а верные факты; все в окрестности говорят об этом; кроме того, с тех пор, как Малирок обитаем, гуси, индюки и другая птица исчезают, как по волшебству.

Отец Раско нигде не мог найти своих двух козочек. Собака Франсуазы Вальбиак исчезла. Старая Таброд утверждает, что видела, как однажды вечером парижане погружали в ручей ягненка и при этом женщина держала голову несчастного животного под водой до тех пор, пока он не перестал дышать. Наконец, что ни день, то новая пропажа, а ряды окаменевших животных в загородке этого старого колдуна все увеличиваются.

Я с трепетом слушал этот рассказ, не сводя глаз с печальной, серой дороги, извивавшейся бесконечной лентой перед нами, все ожидая увидеть на ней Гюи.

— А следствия не было?

— Никакого. Все жалуются, все подозревают... но, когда

дело доходит до того, чтобы обвинять формально — никого! Страх перед мезтью парижан парализует языки, а те становятся все нахальнее...

Я уже не хотел больше расспрашивать Перрена, да он и не мог бы рассказать мне ничего более ужасного, чем то, что в эту минуту подсказывало мне мое воображение.

Проехав еще немного, мы свернули наконец в ущелье Малирока.

— Вы были правы, направившись сюда! — сказал Перрен. — Маленький барин там, он попал в западню! Они его не выпустят.

— Они не осмелятся! — воскликнул я взволнованно.

— Ну, если мальчик сказал им, что приехал один, они смело могли рассчитывать на безнаказанность. И потом, безумцы ведь на все способны!

Я не возражал. Сердце мое сжималось при мысли, что он прав.

Перрен остановил лошадей.

— Рискуя даже нарушить закон, я не зажег фонарей, — сказал он. — Мы остановимся здесь, я не хочу, чтобы в ночной тишине они слышали шум колес: это возбудило бы у них подозрение и, чего доброго, заставило бы их немедленно спрятать мальчика. Волков надо взять в их логовище. Если нужно будет их хорошенько отколотить, я, право, очень охотно это сделаю; может быть, тогда они уйдут, и наша окрестность освободится от этих гадов!

Он соскочил с козел, привязал лошадей к дереву и, толкнув полусгнивший барьер, осторожно пошел к развалинам, я следовал за ним; трава заглушала наши шаги. Туман сообщал еще более призрачный вид белым животным в тени деревьев, и под влиянием рассказа Перрена я, в свою очередь, почувствовал неопределенный страх перед чем-то ужасным, что витало вокруг нас.

Ни один луч света не пробивался из окон жалких лачуг. Все казалось вымершим, пустынным, заброшенным и древние развалины, печальные при дневном свете, ночью были просто ужасны. Перрен вдруг быстро повернулся ко мне и охватил меня за руку. Я понял его и, пригнувшись, мы бес-

шумно растянулись на покрытой беловатым осадком земле. И было <самое> время, так как из ближайшей лачуги быстро вышли две темные фигуры.

— Ты ничего не слышал? — спросила женщина, прислушиваясь, — мне показалось, что я слышала сейчас стук колес в ущелье... Мне кажется, за нами шпионят и кто-то бродит в развалинах.

Мужчина махнул рукой и с хриплым смехом ответил:

— Ты бредишь, старуха, ты бредишь! Опасности нет!.. Никто не рискнет сюда ночью, меня слишком боятся!

И, так как жена его все еще стояла неподвижно, прислушиваясь, он грубо толкнул ее.

— Ну, иди же, ослица, и зажги фонарь! Нужно посмотреть, как там идет дело.

Эти слова заставили нас задрожать от ужасного предчувствия.

Силуэт женщины проскользнул под низко свисавшие ветви одичавших яблонь и направился в сторону грота. За ней, спотыкаясь и бормоча что-то, удалился и муж. Некоторое время мы слышали, как шуршала сухая трава под его неровными шагами, потом все стихло: волки вошли в свое логовище. Мы тихонько пошли за ними следом. Ужасная картина возможных мучений бедного Гюи возникала у меня в мозгу и я, забыв всякую осторожность, готов был броситься на негодея, но Перрен удержал меня, шепча:

— Не спешите... они могут ускользнуть. Нужно поймать их на месте преступления.

Мне стоило больших усилий сдержаться, но я повиновался его словам. Мы достигли грота; сквозь грубо сколоченную дверь виден был свет. Негодяи были там.

— Подождите, — шепнул Перрен, — надо удостовериться, не заперта ли дверь изнутри.

Между тем, как он тихонько шарил рукой, пробуя замок, я, приложив ухо к дверям, старался услышать, что происходит в гроте. Вдруг я содрогнулся всем телом: до слуха моего из глубины грота донеслись слабые вздохи и стоны, и мне казалось, что я узнал голос Гюи.

— Что они там делают, Боже мой! Что они с ним де-

лают, с этим несчастным?! — прошептал я, замирая от страха.

В эту минуту, заглушая стоны неизреченного страдания жертвы, грубый голос безумца произнес:

— Подними ему веки, старуха, подними, чтобы глаза хорошенько заполнились!

Теперь, исполненный отчаяния, я уже не слушал Перрена, говорившего, что дверь заперта и надо поискать другой вход. Я ухватился за замок и начал изо всей силы трясти его, бешено крича:

— Отоприте, негодяи, разбойники, отворите!

Дверь не уступала, но Перрен помог мне, и под его сильным плечом она через минуту с грохотом рухнула. Я бросился через обломки в темноту грота, ведомый слабыми стонами. Перрен поспешил зажечь брошенный негодяями фонарь и... я никогда не забуду представившейся нам ужасной картины.

Ни женщины, ни ее мужа не было и следа: очевидно, они скрылись при первом моем натиске на дверь и убежали через музей. Но мне было не до них. Я думал только о Гюи. Он был там, в темном углублении под мокрым сводом, и в каком отчаянном виде! Несчастный мальчик, привязанный полосами холста за ноги, талию и шею к горизонтально положенной доске, лежал вверх лицом, и на него лилась широкая струя воды проклятого источника. Он лежал почти голый, красивые локоны его тихо шевелились под напором воды вокруг его бледной, безжизненной головки.

Перрен быстро разрезал привязывавшие его полосы холста и передал его мне. Я сорвал с него промокшую одежду и старался согреть в своих объятиях его неподвижное, ооченевшее тело.

Зубы Гюи были судорожно сжаты, кожа покрыта странным жестким налетом, а когда я приподнял веки, то с невыразимым ужасом увидел совершенно закатившиеся глаза. Сердце его, однако, слабо билось. Мы положили его на землю и стали усиленно растирать. Немного спустя его маленькое застывшее тельце вздрогнуло, зубы разжались и из

бледных губ вылетел тихий, скорбный стон. Веки на секунду приоткрылись и сквозь ресницы блеснули темные зрачки. Это были минуты такой сверхчеловеческой тоски, что мне казалось, что веяние безумия пронеслось над моей головой.

Под влиянием растираний, кровь быстрее закружилась в полузамерзшем теле, дыхание Гюи стало ровнее, и я мог теперь осмотреть его внимательней. На теле Гюи было много царапин; видно было, что он отчаянно защищался, прежде чем бандитам удалось уложить его под проклятую струю. Найденный Перреном флакон с хлороформом объяснил, как им удалось победить сопротивление довольно сильного мальчика.

Между тем, Гюи совершенно пришел в себя и, узнав меня, силился что-то сказать. Я успокаивал его, как мог. Перрен в это время обшаривал музей и развалины, чтобы удостовериться, что негодяи не спрятались где-нибудь среди обломков. Но я думал только об одном: как бы скорее выбраться из этого проклятого мешка и успокоить мадам Гель и Лионетту, изнывавших от неизвестности в Сен-Бонне.

Как только Перрен вернулся, мы завернули Гюи в мое пальто и поспешно понесли его к экипажу. Я боялся, чтобы бандиты, убегая, не вздумали захватить наших лошадей, но, слава Богу, они были на месте и мирно щипали скудную травку, росшую под деревом.

Мы укрыли Гюи теплым одеялом, Перрен ударил по лошадям, и они во всю прыть понесли нас прочь от зловещих вод Малирока.

— Они хотели сделать из меня то, что сделали из этих бедных животных! — заикаясь, жалобно шептал дорогой Гюи, преследуемый только что пережитым ужасом. — Они хотели обратить меня в статую, в камень... О, не качайте головой, не старайтесь меня уверить, что мне все это показалось! Я хорошо слышал, что эта женщина и этот страшный человек говорили, когда опрокинули меня на землю и заставили вдыхать эту отвратительную жидкость...

Дальше, весь дрожа, мальчик говорил, как бандиты, видя его одного, начали расспрашивать и, когда он прогово-

рился, что приехал тайком, они, недолго думая, связали его, заткнули тряпкой ему рот и бросили в погреб. А ночью вытащили и стали усыплять хлороформом.

При воспоминании о том, как первая струя этой поистине дьявольской воды оросила его обнаженное тело, замораживая его и прерывая дыхание, Гюи начал снова трястись, как в сильнейшей лихорадке.

— Все кончено, милый, кончено! — старался я его успокоить. — Сейчас вы будете в объятиях вашей мамы и сестры. Не думайте больше об этом. Нужно успокоиться, забыть...

— Как же вы хотите, чтобы я забыл, когда я еще живо чувствую, что кожа моя окаменела? Ведь они меня так долго, долго держали погруженным в источник. Разве это не правда?

— Не слушайте, что говорит вам ваше напуганное воображение, дорогой Гюи. Нужно было бы, чтобы тот человек был положительно сумасшедшим, чтоб ему пришла идея обратить вас в статую. Разве в нашей цивилизованной Франции возможны подобные вещи?

— Нет, нет, это не воображение. Разве вода Малирока не обращает в камень фрукты, птиц и животных? Почему бы то же самое не могло быть и с человеческим телом? У меня губы и щеки, я чувствую, отвердели; мне кажется, я уже никогда не смогу двигать ими и улыбаться, как прежде... Ах, как это будет теперь мешать мне целовать маму и Лионетту!

Я наклонился к нему и при слабом свете звезд с горестью заметил, как он старается улыбнуться, но, несмотря на все усилия, лицо его, несколько часов тому назад такое очаровательно подвижное, полное жизни, остается бледным и странно неподвижным. Одни глаза, только сохранившие жизнь на этой мраморной маске, с тоской, вопросительно смотрели на меня; из них крупными каплями катились слезы. Сердце мое наполнилось бесконечной жалостью и горем. Успокаивая его нежными словами, я укачивал его, как маленького ребенка и, наконец, он немного успокоился и заснул.

Как Перрен ни гнал лошадей, дорога казалась мне бесконечной. Глядя на мертвенно-бледное личико Гюи, его сомкнутые веки, меня неотступно преследовала фраза, сказанная сумасшедшим: «Подними ему веки, чтобы глаза хорошенько наполнились!»

И в эту туманную ночь, полную страшного кошмара и безумия, мне болезненно хотелось разбудить Гюи, заставить его широко открыть веки, чтобы отогнать ужасную, докучную мысль и убедиться, что его чудные, большие глаза, глаза моей Лионетты, не были замуравлены от света этой заколдованной водой...

Нужно ли описывать радость мадам Гебель и Лионетты, когда мы подъехали к вокзалу Сен-Бонне?

На ночь мы вернулись в Себрейль. Щедро наградив Перрена за его помощь, я подал жалобу мэру. Подняли на ноги полицию, жандармов, обыскали всю окрестность, но, к сожалению, без результата. На другой день мы вернулись в Париж...

Прошло много времени. Гюи почти забыл свое ужасное приключение. Голос его по-прежнему звучит весело, взгляд больших глаз полон жизни. Но губы его с трудом раздвигаются в улыбку, и материнские поцелуи не возвратили еще ни тепла, ни ласки его мертвенно-бледному лицу...

Шарль Фолей

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ

Я до сих пор не могу понять того порыва безумия, который прошел над старым замком в Бретани, где мы проводили весну вместе с моей племянницей Люсьеной. Вот уже восемь дней, как все это кончилось, а между тем, я все еще ловлю себя на вопросе: не было ли это сном?! До такой степени вся фантастичность этого мрачного приключения усиливалась странными обстоятельствами, сопровождавшими его. Суди сам: я посылаю тебе заметки, которые я вел тогда ежедневно.

22-го марта. Небо серо и облачно. Южный ветер пригнал мелкий холодный дождь.

Тяжелые, тепловатые водяные испарения, направляясь к морю, проносятся над долиной, тянутся вдоль мутной реки и мрачной пеленой окутывают соседние холмы, покрытые оголенным дроком и пожелтевшим вереском. Никогда еще местность эта не казалась мне такой пустынной и дикой. Сердце у нас сжимается от какой-то неопределенной тоски.

23-го марта. Предчувствие наше оправдалось. В местности по той стороне реки появилась какая-то странная эпидемия с еще не вполне ясными симптомами. Жители фермы сообщили нашей горничной, что болезнь эта была занесена из Англии какой-то зараженной путешественницей, высадившейся в Бресте и исчезнувшей в тот же день неизвестно куда. Моя племянница сильно взволнована. Мы не перестаем говорить об эпидемии.

24-го марта. Пришел доктор и подтвердил нам эту новость.

Ему никогда не приходилось наблюдать подобного случая.

Вот подробности, приведенные им:

Люди всякого возраста, при всевозможных обстоятельствах, в поле, на улице, в постели или за столом покрываются испариной, за которой следует озноб и рвота. Затем появляется головокружение и бред, при котором человек, с растерянным взором, в беспамятстве произносит бессвязные речи голосом, прерывающимся от скрежетания зубов.

В этом первоначальном периоде, лицо делается багрово-красным; жажда до такой степени сильна, что язык, покрытый белым налетом, высовывается между пересохшими губами. Затем лицо бледнеет, взор мутнеет и потухает. Еще несколько конвульсивных вздрагиваний, несколько нервных подергиваний и человек не в состоянии двигаться. Он ничего не слышит и не воспринимает, шатается и весь охвачен каким-то бесчувственным оцепенением. Черты лица принимают выражение мрачного отчаяния. Кожа вспухает и покрывается синевато-багровыми пятнами. Глаза остаются открытыми и пристально устремленными, точно в какой-то подавляющей дремоте, которая через несколько часов переходит в вечный сон. Пятна на теле становятся совсем черными.

После рассказа доктора я гляжу на Люсьену: она смертельно бледна. Она нервно задает вопрос:

— И вы думаете, что один человек может распространить болезнь?

— Такие случаи наблюдались.

— А какие же средства против этой болезни, доктор?

— Раньше, чем принять средство, надо сначала изучить болезнь. Одебер говорит, что против черной смерти он с успехом предписывал употребление гашиша.

Доктор встает, прибавляя:

— А пока самое лучшее — это не ходить на ту сторону реки!

25-го марта. Бесконечно дует ветер и моросит дождь. Люсьена послала кучера в город. К обеду приходит священник. Это славный человек, простой и ограниченный. Люсьена спрашивает, что он намерен делать, если эпидемия захватит и наш берег. «Да то, что обыкновенно делается веками, — отвечает он. — Буду ставить свечи перед алтарем, разведу огонь в ограде для очищения воздуха, оставлю церковь открытой день и ночь и буду служить молебствия», и тихо прибавляет: «Я уже велел заранее выкопать пятнадцать могил». Люсьена не в силах подавить ужаса. Мы больше не возобновляем разговора об эпидемии.

26-го марта. Дерик, наш арендатор, является в замок.

Он сильно возбужден.

— Та, которая разносит чуму, — заявляет он серьезно, — это действительно женщина в черном: у нее черное платье, черная соломенная шляпа и черная накидка. Она высадила с английского парохода в Бресте и с тех пор бродит одна по деревням и полям, бросая повсюду заразу. Она блуждает по пустынным местностям, чтобы заразить их; она всходит на вершины холмов, развешивает свою накидку и встряхивает ее по ветру, чтобы распространить заразу и рассеять семена смерти по всей стране.

Я пытался высмеять легковерие крестьянина; Люсьена поспешно вышла.

27-го марта. Сегодня, около шести часов, я остался один, сидя возле окна большой гостиной в нижнем этаже. Было так холодно, что я приказал затопить камин. И вздрогнул от неожиданности.

На другом берегу реки, появившись среди наступавших сумерек, на холме вырисовывался стоявший тонкий силуэт женщины, одетой в черное. Она с минуту стояла неподвижно на вершине. Ветер раздувал ее накидку. Развевавшиеся складки придавали ей сходство с зловещей птицей, размахивающей черными крыльями, готовой взлететь над долиной. Затем, спустившись по крутой тропинке, она остановилась возле берега, наклонившись к воде.

Я не мог рассмотреть, что она делала. Может быть, она подавала знаки, чтобы перебраться на другую сторону реки. Подъехала лодка. Я не узнал гребца. Слова фермера преследовали меня.

Растерянный, я побежал сказать слуге, чтобы заперли ворота парка. В вестибюле я встретился с Люсьеной. Она задыхающимся голосом прошептала:

— Лакей Жан заболел головокружением и рвотой. У него на руках показались синие пятна.

Страшно взволнованная, она поднялась к себе наверх.

Я вернулся в гостиную, чтобы запереть двери на засов. Несмотря на огонь, в ней было темно и сыро. Горло у меня захватило от какого-то зловонного воздуха. Стеклопанельная дверь была открыта настежь и брызги дождя отскакивали к ковру.

Притворив половину дверей, я неожиданно заметил черную женщину, неподвижно и молча сидевшую на диване, в тени. Я резко окликнул ее. Она не отвечала, но знаком объяснила мне, что она не понимает и не может говорить. Жалостным и боязливым движением она указала мне на дождь, моросивший в долине; дрожа, она вся съежилась под своей накидкой. Я несколько устыдился первого ужаса, и у меня не хватило жестокости прогнать ее вон. Я пытался рассмотреть ее, но, точно во сне, у меня не хватило силы воли, чтобы сосредоточить свое внимание. Я зажег свечи. Они горела тускло, точно вся комната была пропитана какими-то болотными испарениями. Я увидел женщину, смертельно побледневшую, со свинцовым цветом лица, с помутневшими тусклыми зрачками посреди одного из тех незаметных лиц, которые к трудом запоминаются.

Она не двигалась, продолжая сидеть съежившись и дрожа от холода. Она проводила языком по своим воспаленным губам. Язык у нее был белый. Чтобы лучше закутаться, она на одно мгновение высунула свою руку из-под накидки. Рука была покрыта черными пятнами.

Я снова вышел, чтобы послать за доктором. В вестибюле я наткнулся на слугу, на Дерика и нескольких рабочих с ферм, которые с яростью жестикулировали. Они принялись громко кричать:

— Черная женщина пробежала через парк! Мы видели, как она вошла в гостиную. Чума заразит весь дом и всю местность! Прогоните ее или позвольте нам прогнать ее!

— Замолчите, — отвечал я. — Вы с ума сошли! Эта несчастная сама пострадала! Позовите доктора.

Никто не двигался. Они не хотели понять меня и стояли мрачные, угрожающе устремив взгляды на двери гостиной. Я решил отправиться сам. Поднявшись в комнату Люсьены, чтобы предупредить ее, я застал ее стоявшей с расширенными зрачками, с каким-то невероятным выражением восторга, что придавало ей еще более безумный вид, чем у остальных. Я обратился к ней, но она не слышала моих слов и принялась петь. Невероятный шум какой-то дикой скачки под окном вывел меня из моего оцепенения.

Ужасная мысль о том, что все эти дикари ворвались в гостиную и преследуют теперь эту женщину по полям, осенила меня. Я мигом спустился вниз. Черная женщина, действительно, исчезла. Гостиная была пуста, но опрокинутые стулья, наполовину перевернутый ковер и открытые двери указывали на ужасную погоню. Совершенно растерявшись, я повернул голову и увидел Люсьену, стоявшую позади меня с тем же угрожающим выражением восторга. Она держала в руках и рассматривала жалкую черную соломенную шляпу, которую незнакомка в борьбе или во время бегства, очевидно, обронила.

Она рассмеялась безумным смехом, так действовавшим мне на нервы. Затем она надела шляпу на голову и приблизилась к зеркалу. Не успела она заглянуть в него, как вскрикнула от ужаса, швырнув шляпу в огонь. При ярком красном пламени, вспыхнувшем от черной соломы, я заметил ее бледное лицо, изменившееся до такой степени, точно она умирала. Я бросился к лей. Она навзничь упала ко мне на руки, забившись в сильном припадке и крича от ужаса:

— Надев эту шляпу, я увидела себя в зеркале с разложившимся телом, без губ, без носа и без глаз... я видела себя с мертвой головой!..

Я понес ее в постель. Измученный сам, я бросился в кресло...

28-го марта. Меня все еще лихорадит. Люсьена бредила в продолжение всей ночи. Теперь, несколько успокоившись, она заснула. Входит горничная и сообщает:

— Барин, та женщина...

— Какая женщина?

— Женщина в черном, чума! Вчера вечером, когда наши парни ее прогнали, она перескочила через забор парка и умчалась по долине.

Одну минуту они боялись, что потеряли ее следы. Но вся деревня явилась на помощь, вооруженная дубинами и вилами; ее отыскиали в каменной нише, защищающей источник. Она стояла на коленях...

— Чтобы напиться?

— Возможно и это, но также и для того, чтобы заразить

воду своим ядом. Она лакала воду, точно замученная жаждой собака. К счастью, крестьянам удалось окружить ее прежде, чем она успела встать на ноги. Парни оттиснули ее в глубину и удерживали в воде, протянув свои вилы, в то время как женщины набирали камень, горные глыбы, землю, чтобы заделать отверстие, и они замуровали ее. Теперь она, наверное, умерла, так как Жану гораздо лучше, а барышня спят спокойно.

Я ничего не отвечаю. Я никогда в жизни не переживал ничего более сильного.

29-го марта. Люсьена выздоровела окончательно. Она созналась, что, обезумев, от страха, она послала за гашишем и приняла сильнейшую дозу его.

Таким образом, ее галлюцинация перед зеркалом становится понятной. По поводу женщины в черном прибыли жандармы. Источник расчистили и откопали несчастную, окоченевшую от ужаса, всю исколотую ударами вил, мертвую. Никаких бумаг не было найдено при ней.

Предполагают, что, высадившись в Бресте, она потеряла рассудок и бросилась бежать при первых признаках болезни. Следствие не было начато, так как пришлось бы арестовать целую деревню. Но, что странно и, конечно, избавит наших брестовцев от всяких угрызений совести относительно их жестокости и суеверия, это то, что со вчерашнего дня эпидемия точно каким-то чудом прекратилась.

Эллен Глазгоу

ТЕНЬ ТРЕТЬЕЙ

Помню, я отошла от телефона в каком-то чаду. Хотя я всего один только раз говорила с великим хирургом, Роландом Марадиком, но в это декабрьское утро я поняла, что и один только раз говорить с ним — и даже только видеть его в операционной — достаточно для того, чтобы это оставило неизгладимый след на всю жизнь. Я и теперь еще — после стольких лет тяжелой работы среди тифозных и члехоточных — переживаю лихорадочное волнение, какое испытала в тот день.

— Он не назвал меня по имени... Может быть, тут недо-разумение? — нерешительно спросила я старшую сестру.

— Нет, тут не может быть ошибки. Я говорила с ним перед тем, как вас позвали к телефону, — с мягкой улыбкой ответила мисс Хемпфоль.

Эго была рослая решительная женщина, дальняя родственница моей матери, одна из тех сестер милосердия, которых так охотно назначают на ответственные должности в северных госпиталях. Она сразу очень сердечно отнеслась ко мне и, если у меня еще не было большого опыта, то под ее руководством я быстро приобретала его.

— И он сказал вам, что приглашает именно меня?

Это было так удивительно, так радостно, что я поверить этому не могла.

— Он просил прислать сестру, которая была с мисс Гудзон на прошлой неделе, когда он ее оперировал. Я думаю, он даже не знает вашего имени — вы знаете, ведь только южане считают сестер людьми, а не автоматами. Когда я спросила его, желает ли он мисс Рандольф, он ответил, что желает, чтобы ему прислали ту сестру, которая была с мисс Гудзон, небольшого роста, с приятным выражением лица. Последнее, конечно, могло бы быть отнесено ко многим нашим сестрам, но у мисс Гудзон, кроме вас, дежурила только сестра Мопин, огромного роста толстуха.

— Значит, это правда?! — переспросила я, и сердце мое сильнее забилося. — И я должна быть там в шесть часов?

— Ни минутой позже... Сестра, которая дежурит днем, в это время освобождается, а мистрис Марадик никогда не оставляют одну.

— У нее психическое расстройство? Странно, что его выбор остановился на мне... У меня так мало опыта с психическими больными...

— Ну, опытом вы вообще похвастать не можете, — с улыбкой заметила мисс Хемпфоль. — Но ничего, здесь, в Нью-Йорке, вы скоро приобретете опыт и потеряете вашу экспансивность и впечатлительность. Право, мне иногда думается, что вам бы лучше сделаться писательницей.

— Мне кажется, во всякую работу надо вкладывать душу.

— Мало ли что надо! Но если вы будете усердно расточать ваши симпатии и ваш энтузиазм и взамен этого не получите даже благодарности, вы поймете, почему я так стараюсь сдерживать вас.

— Но... В таком случае, как теперь... у доктора Марадика...

— О, конечно, для доктора!.. Это довольно печальный случай, — прибавила она, заметив любопытство в моем взоре. — Жалко такого прекрасного человека, как доктор Марадик.

— Да, он удивительно красив и добр, — пробормотала я.

— Все пациентки обожают его.

И не только пациентки, но и все сестры были без ума от очаровательного доктора. Это был, так сказать, врожденный кумир женщин. Когда я впервые увидела его в госпитале, я поняла, что ему суждено сыграть роль в моей жизни. Нужно было видеть, как встречали его в госпитале, как ждали его приезда и пациентки, и сестры, чтобы понять, сколь неотразим был этот человек. И не только красота его покорила всех. Было что-то неотразимое в его блестящих темных глазах, в его чарующем голосе, проникавшем в тайники души. Я помню, кто-то сказал про него, что таким голосом надо произносить только поэтические произведения, а не обыденную прозу.

После всего сказанного ясно, что я не могла не принять приглашения, я должна была пойти на его зов. В то время я мечтала о том, что напишу когда-нибудь роман, и уже мысленно называла этот случай в своем будущем романе судьбой. Я, конечно, не первая сестра, которая влюбляется в док-

тора, не обращающего на нее никакого внимания...

— Я рада, что он пригласил вас, Маргарита, — сказала мне мисс Хемпфоль. — Это может послужить вам на пользу. Только, пожалуйста, постарайтесь избавиться от своей сентиментальности.

— Мне хотелось бы знать что-нибудь о больной... Видали вы когда-нибудь мистрис Марадик?

— О, да! Ведь они женаты всего немногим больше года, и в первое время она часто приезжала к госпиталю и поджидала его у входа. Она очень симпатичная — нельзя сказать, чтобы красивая, но миловидная женщина, с удивительно милой улыбкой. Видно было, что она до безумия влюблена в своего мужа, и мы немало трунили над этим. Нужно было видеть, как лицо ее озарялось счастливой улыбкой, когда доктор выходил из госпиталя и направлялся к экипажу, в котором она поджидала его! Мы всегда старались не упустить случая поглядеть за этой сценой из окна. Раза два она приводила с собой свою маленькую девочку, поразительно на нее похожую...

Я еще раньше слышала о том, что доктор Марадик женился на вдове с ребенком.

— Она очень богата? — спросила я.

— Неимоверно. Если б она не была так мила, наверное, говорили бы, что он женился из-за денег. Я слышала о каком-то странном завещании ее первого мужа, по которому все наследство оставлено девочке, только в случае смерти которой оно переходит к матери...

В комнату вошла молоденькая сестрица и попросила что-то у мисс Хемпфоль — кажется, ключи от операционной. Мисс Хемпфоль вышла за ней, так и не досказав мне историю болезни мистрис Марадик, к которой я почувствовала глубокую симпатию.

Приготовления мои заняли не больше нескольких минут, так как у меня всегда был готов саквояж на случай экстренного вызова. Ровно в шесть часов я была на 10-й улице Пятой Авеню перед домом доктора.

Это был старый дом с мрачными серыми стенами. Впоследствии я узнала, что мистрис Марадик родилась в этом

доме и что она никогда не желала расставаться с ним. Мистрис Марадик была из тех женщин, которые сильно привязываются и к людям, и к местам. После свадьбы доктор не раз предлагал ей переселиться в центр города, но, несмотря на свою страстную любовь к нему и обычную мягкость характера, в этом отношении она проявила упорство. Эти мягкие, избалованные женщины, особенно выросшие в богатстве, иногда способны на необыкновенное упорство.

На мой звонок дверь немедленно открылась и чернокожий лакей провел меня в библиотечную, освещенную лишь пылавшим в камине углем. По-видимому, узнав, что я сестра милосердия, он не нашел нужным для такой ничтожной особы осветить комнату. Лакей этот был старым негром, как я потом узнала, доставшимся мистрис Марадик от ее матери, которая была родом из Каролины.

Пока лакей шел докладывать о моем приходе, я с удовольствием оглядывала комнату, казавшуюся мне такой уютной и красивой, особенно по сравнению с внешним мрачным видом дома. В полумраке я вдруг увидела, как из соседней комнаты выкатился большой мяч в красных и синих полосах. Я сделала движение, чтобы поймать его, как вдруг в дверях показалась девочка и при виде чужого ей человека с недоумением остановилась на пороге. На вид девочке было лет шесть-семь. Это было изящное хрупкое существо с удивительно миловидным личиком. Она остановилась на пороге и посмотрела на меня своим загадочным взглядом. На ней было шотландское клетчатое платье; ее прямые, свешивавшиеся до плеч волосы были перевязаны красной лентой; маленькие ножки в белых носочках и черных туфельках бесшумно ступали по мягкому ковру. Больше всего поразили меня ее глаза. Это был взгляд не ребенка, а умудренного тяжелым опытом человека.

— Вы ищете свой мяч? — спросила я.

Но в это время слуга вошел в комнату. Я попыталась погнаться за мячом, который с возрастающей скоростью покатился и исчез во мраке.

Когда я подняла глаза, девочка уже скрылась из комнаты. Я пошла за лакеем, который должен был проводить ме-

ня в кабинет великого хирурга.

В то время я еще не потеряла способности краснеть от волнения и чувствовала, что горю, когда входила в кабинет. Мне еще не приходилось оставаться с ним ни на минуту наедине. Эго, конечно, было безумием с моей стороны, но человек этот был для меня больше, чем идеалом, это был мой бог. Я была без ума не только от личности доктора, но и от чудес, которые он творил в операционной. Даже если бы он был груб, бестактен по отношению ко мне, это не уменьшило бы его в моих глазах и несколько не повлияло бы на мое обожание. Но он был сама деликатность. Недаром все его пациентки влюблялись в него, не говоря уж о сестрах, не исключая и мисс Хемпфоль, которой было уже под пятьдесят.

— Я рад, что вы пришли, мисс Рандольф. Ведь это вы были со мной при операции мисс Гудзон?

Я кивнула головой. Я боялась произнести слово, чтобы еще более не покраснеть от волнения.

— Я тогда же обратил внимание на вашу приветливость. В этом очень нуждается мистрис Марадик. Сестру, дежурящую при ней днем, она находит слишком унылой.

Его глаза ласково остановились на мне и видно было, что он догадывается, что я влюблена в него. Молоденькая сестрица из госпиталя — это слишком ничтожное существо, чтобы льстить его самолюбию, но некоторые мужчины любят быть обожаемыми, все равно, кем бы то ни было.

— Я убежден, что вы сделаете все, что возможно, — продолжал он; затем, после некоторой паузы, с печальной улыбкой добавил: — Мы бы очень хотели избавиться от необходимости услатить ее отсюда...

Я пробормотала в ответ что-то несвязное. Он позвонил и приказал вошедшей на звонок горничной проводить меня в назначенную мне комнату в третьем этаже. Подымаясь по лестнице, я подумала, что все-таки ничего не знаю о больнице мистрис Марадик.

Комната мне была отведена прекрасная. После моей скромной каморки в госпитале, с бедной маленькой кроваткой, комната и особенно постель показались мне велико-

лепными.

Минут через десять я была уже в костюме сестры, готовая пройти к больной, но она почему-то отказалась принять меня. Стоя за дверью, я слышала, как сестра Петерсон убеждала и уговаривала ее, но все это было напрасно, и я должна была возвратиться в свою комнату. Только около десяти часов вечера пришла за мной совсем измученная мисс Петерсон.

— Боюсь, вам предстоит дурная ночь, — сказала она, когда мы спускались по лестнице.

Я знала привычку сестры Петерсон все представлять в мрачном виде и не очень беспокоилась ее словами.

— Часто задерживает она вас так долго? — спросила я.

— О, нет! Обыкновенно это самое кроткое и милое существо. У нее чудный характер. Но у нее галлюцинации...

По-видимому, в этом-то и состояла болезнь мистрис Марадик. Но слова сестры Петерсон все-таки не пролили света на эту таинственную болезнь.

— Какого рода галлюцинации у нее? — хотела я спросить, но было поздно, так как мы были уже перед дверью мистрис Марадик и мисс Петерсон, сделав мне знак молчать, приоткрыла дверь, через которую я увидела мистрис Марадик в постели, освещенную слабым светом лампочки, стоявшей на столике рядом с графином воды и книгой.

— Я не войду с вами, идите одна, — прошептала мисс Петерсон.

Я готова была уже войти в комнату, как вдруг увидела, что маленькая девочка в шотландском платьице проскользнула оттуда мимо меня. В руках у нее была большая кукла. Когда она проходила мимо меня, из рук ее выпал игрушечный рабочий ящичек. По-видимому, мисс Петерсон подняла его, потому что, когда я, проводив ребенка глазами, наклонилась, чтобы поднять его, на полу уже ничего не было. Помню, я удивилась, что девочке так поздно позволяют расхаживать по дому — у нее был такой хрупкий вид. Но, в конце концов, ведь это не мое дело, и я успела уже научиться, что сестра не должна совать свой нос не в свое дело.

Когда я подошла к креслу у постели мистрис Марадик,

она повернула ко мне голову и посмотрела на меня с печальной улыбкой.

— Вы новая сестрица? — спросила она своим приятным голосом. И сразу я почувствовала прилив глубокой симпатии к ней. — Мне сказали ваше имя, но я позабыла...

— Рандольф, Маргарита Рандольф, — ответила я.

— Вы очень молодо выглядите, мисс Рандольф.

— Мне двадцать два года, но, говорят, я выгляжу моложе.

Она замолчала. Усаживаясь в кресло у ее постели, я подумала, какое поразительное сходство между нею и девочкой. Тот же овал лица, те же светло-каштановые прямые шелковистые волосы, те же большие серьезные глаза, далеко друг от друга расположенные. На больше всего поразило меня одинаковое загадочное выражение их глаз, которое у мистрис Марадик по временам переходило в выражение неопределенного страха, даже ужаса.

Я тихо сидела, пока не наступило время дать лекарство. Когда я склонилась к ней с ложкой лекарства, она прошептала:

— Вы такая милая. Видели вы мою дочурку маленькую?

— Да, два раза, — ответила я, просовывая руку под ее подушку, чтобы слегка приподнять ее. — Я сразу узнала ее по поразительному сходству с вами.

Глаза ее заискрились, и я подумала, что она должна была быть очень интересна до болезни.

— Теперь я совсем убеждена, что вы добрая, — еле слышно произнесла она. — Если бы вы не были доброй, вы не могли бы видеть ее.

Мне показались странными ее слова и я произнесла:

— Мне показалось, что ей, такой слабенькой, следовало бы раньше ложиться.

Дрожь пробежала по ее лицу. Мне показалось, что вот-вот она разразится слезами. Она проглотила лекарство, я поставила стакан с водой на стол и стала гладить ее по мягким шелковистым волосам.

— Она всегда была такая хрупкая, хотя никогда в жизни не болела, — спокойно ответила она после небольшой

паузы. И вдруг, схватив меня за руку, прошептала:

— Вы не скажете ему? Вы не должны никому говорить, что видели ее!

— Никому? — с удивлением переспросила я.

— Убеждены ли вы, что нас никто не слышит? — спросила она, оттолкнув мою руку и садясь на постели.

— Вполне убеждена. Всюду свет уже погашен и никого нет.

— И вы не расскажете ему? Обещайте мне это! — В глазах ее появилось выражение ужаса. — Он не любит, чтобы она приходила, потому что он убил ее.

Потому что он убил ее! Так вот в чем ее болезнь! Она думает, что ее девочка умерла, та самая девочка, которую я видела в библиотечной и затем выходящей из ее спальни, и что великий хирург, которого все мы в госпитале обожаем, убил ее! Ничего удивительного после этого, что болезнь ее держится в тайне.

— Какой смысл говорить людям о вещах, которым они не верят, — тихо произнесла она, снова беря меня за руку и крепко сжимая ее. — Никто не верит, что он убил ее... Никто не верит, что она приходит сюда!.. Никто... а между тем, вы ведь видели ее!

— Да, видела. Но зачем же вашему мужу было убивать ее? — я говорила ласково, мягко, как говорят с помешанной. А между тем, она не была помешанной, я готова признать в этом.

Прошла минута, в течение которой она лишь тяжело стонала. Затем она с отчаянием вытянула свои худые обнаженные руки и произнесла:

— Потому что он никогда не любил меня! Никогда!

— Но ведь он же женился на вас, — ласково убеждала я ее. — Если бы он не любил вас, зачем же было бы ему жениться?

— Он хотел мои деньги... деньги моей малютки... Все это перейдет к нему, когда я умру.

— Но ведь он и сам богат! Ведь у него прекрасная практика.

— Этого ему мало. Ему нужны миллионы... Нет, — суро-

вым трагическим тоном произнесла она. — Он никогда не любил меня. Он любит другую, давно любит, еще раньше, чем я познакомилась с ним.

Бесполезно было бы убеждать ее. Если она и не была помешанной, то, во всяком случае, была в таком мрачном и отчаянном настроении, которое близко к помешательству. У меня мелькнула даже мысль пойти и привести к ней девочку, но потом я подумала, что едва ли доктор и мисс Петерсон не пытались уже сделать это. Ясно, что нужно только успокоить ее, и это мне скоро удалось. Потом она заснула и спокойно спала до утра.

Утром я почувствовала себя такой усталой — не от работы, а от пережитых волнений, — что страшно обрадовалась, когда мисс Петерсон пришла сменить меня. В столовой я застала только старую экономку.

— Доктор Марадик, — объяснила она мне, — завтракает всегда у себя в кабинете.

— А девочка? — спросила я. — Неужели она завтракает у себя в детской?

Она с изумлением посмотрела на меня.

— Тут нет никакой девочки. Разве вы не слышали?

— Что?! Да ведь я сама вчера видела ее!

Экономка взглянула на меня уже с беспокойством.

— Девочка — милейшее в мире существо, — произнесла она, — умерла два месяца тому назад от воспаления легких.

— Не может быть! — воскликнула я. — Ведь вчера только я видела ее собственными глазами.

Беспокойство в лице экономки усилилось.

— Это-то и составляет болезнь мистрис Марадик. Она уверяет, что видит девочку.

— А вы разве не видите ее? — предложила я глупый вопрос.

— Нет, — ответила она, сжав губы. — Никто не видит ее.

Мною овладел ужас. Ребенок умер два месяца тому назад... но ведь я видела ее в детской с мячом, а затем выходящей из комнаты матери с куклой в руках...

— Нет ли какого другого ребенка в доме? — спросила я.

— Нет, — ответила она. — Доктор пробовал было при-

вести сюда девочку, но это повергло бедную мать в такое отчаяние, что она чуть не умерла. И потом, разве можно найти второго <такого> ребенка, какой была Дороти? Нужно было видеть, как спокойно, бесшумно играла она всегда! Право, мне иногда казалось, что это не ребенок, а фея, хотя фей изображают в белом и зеленом, а не в шотландке, которую она всегда носила.

— А видел ли ее еще кто-нибудь? — спросила я. — Я имею в виду слуг.

— Только старый Гавриил, негр-лакей, который приехал с матерью мистрис Марадик из Каролины. Я слышала, будто негры обладают этой способностью второго зрения, хотя верить этому не могу. Говорят, у них какой-то сверхъестественный инстинкт... Но Гавриил так стар и дряхл, что на него никто уж не обращает внимания.

— Осталась ли детская комната в неприкосновенном виде?

— О, нет! Доктор все ее игрушки отослал в детскую больницу. Это было большим огорчением для бедной мистрис Марадик. Но доктор Брэндон, который лечит ее, нашел, что это лучше, чем сохранить комнату ребенка в неприкосновенном виде.

После завтрака я впервые встретила со знаменитым психиатром доктором Брэндоном. Он произвел на меня неприятное впечатление. Он, может быть, был и честным человеком — в этом я не могла отказать ему — но его манера все в жизни рассматривать с точки зрения своей специальности, его напыщенность, его круглое сытое лицо сразу дали мне понять, что он получил свое образование в Германии, где и научился личность приносить в жертву группе и всякое проявление чувства считать патологическим явлением.

Когда я наконец пошла к себе в комнату, я почувствовала такую усталость от всего пережитого, что сразу бросилась в постель и заснула крепким сном. К ночным дежурствам я привыкла. Но на этот раз я чувствовала такую усталость, как будто бы проплясала всю ночь.

В течение дня я не видала доктора Марадика. Но в семь

часов, когда я готовилась пройти к мистрис Марадик, чтобы сменить мисс Петерсон, он позвал меня к себе в кабинет. Он показался мне прекраснее, чем когда бы то ни было. Он был в вечернем туалете, с белым цветком в петличке. Экономка сказала мне еще раньше, что он идет на какой-то званый обед.

— Хорошо ли провела ночь мистрис Марадик? — спросил он меня.

— После лекарства, которое я дала ей в одиннадцать часов, она прекрасно спала.

С минуту он молча смотрел на меня, точно гипнотизировал меня.

— Говорила она вам что либо о... о... своих галлюцинациях? — спросил он.

Я как то сразу почувствовала, что должна сейчас же сделать выбор — или с мистрис Марадик, или против нее... И я с усилием ответила:

— Она говорила вполне разумно.

— Что же говорила она вам?

— Она говорила мне о своем горе, о том, что днем она ходит немного по комнате.

Я не могла определить мелькнувшего в лице его выражения.

— Видели вы доктора Брэндона?

— Он был сегодня утром и дал мне некоторые инструкции.

— Он нашел ее сегодня хуже. Он думает, что ее следует послать в Росдейль.

Я никогда даже мысленно не пыталась судить доктора. Быть может, он был вполне искренен. Я рассказываю только то, что знаю, а не то, что думала или представляла себе.

Я чувствовала под его взором, что во мне борются два начала, точно два различных существа. Но наконец я сделала выбор, и в дальнейшем я действовала не столько под влиянием рассудка, сколько под влиянием какого-то безотчетного побуждения. Бог знает, почему этот человек даже в ту минуту, когда во мне шевельнулось недоверие к нему, сохранил свое влияние на меня.

— Доктор, — впервые подняв на него глаза, произнесла я, — я думаю, ваша жена в здравом рассудке, она так же здорова, как вы, как я...

— Значит, она не говорила с вами откровенно? — удивился он.

— Может быть, она заблуждается, может быть, она слишком ослабела, расстроилась от горя, но она не... я готова голову дать на отсечение, что она не представляет собой кандидата в дом сумасшедших. Было бы безумием, страшной жестокостью отсылать ее в Россдейл! — горячо воскликнула я.

— Жестокостью? — со смущением переспросил он. — Ведь вы же не думаете, что я хочу быть жестоким по отношению к жене?

— Конечно, нет! — ответила я уже мягче.

— Тогда оставим все по-старому. Быть может, доктор Брэндон придумает что-нибудь другое.

Он вынул из кармана часы, сравнил их с висевшими на стене и нервно заторопился:

— Я должен идти. Мы еще завтра поговорим об этом.

Но назавтра нам не пришлось говорить, и в течение целого месяца, когда я ухаживала за мистрис Марадик, он ни разу не пригласил меня в свой кабинет. Когда мне случилось встретиться с ним в передней или на лестнице, он был неизменно любезен и очарователен, хотя я инстинктивно чувствовала, что со времени нашего последнего разговора он как будто бы считает, что я не могу быть ему в дальнейшем полезна.

Мистрис Марадик, между тем, с каждым днем как будто бы поправлялась. Со времени нашей первой встречи она больше ни разу не говорила мне ни о девочке, ни о своем обвинении мужа. Она была, как и все выздоравливающие, только гораздо терпеливее и добрее. Всякий, кому приходилось сталкиваться с нею, не мог не полюбить ее, так много привлекательности было в ней. И все-таки, несмотря на эту чисто ангельскую доброту, иногда мне казалось, что по отношению к мужу она испытывает чувство страха и ненависти. Хотя он при мне ни разу не входил в ее комнату, и ни

разу до последнего момента с уст ее не срывалось его имя, однако, я видела, как вздрагивала она и какой ужас появлялся в глазах ее, когда вдали раздавались шаги его.

В течение этого месяца я больше ни разу не видела девочку. Но однажды, войдя в комнату мистрис Марадик, я увидела на подоконнике маленький игрушечный садик. Я ничего не сказала об этом мистрис Марадик, а когда через несколько минут горничная вошла, чтобы спустить шторы, игрушка исчезла. С тех пор я стала думать, что девочка, невидимая для всех нас, часто бывает с матерью. Чтобы убедиться в этом, надо было бы расспросить мистрис Марадик, но на это у меня духу не хватало.

Она чувствовала себя прекрасно, и я стала надеяться, что скоро ей можно будет выйти на воздух. И вдруг, совершенно неожиданно, наступил конец...

Был прекрасный январский день, один из тех дней, в которые уже чувствуется отдаленное дуновение весны. Спускаясь после полудня с лестницы, я заглянула через окно в сад, где под окном мистрис Марадик разноцветными искрами бил старый фонтан — два мраморных смеющихся мальчика. Воздух был необыкновенно чист и свеж, и я подумала, что хорошо было бы сегодня вывести мистрис Марадик в сад, на солнышко. Мне казалось странным, что ее постоянно держат в комнате и позволяют дышать свежим воздухом лишь у открытого окна.

Я пошла к ней в комнату с этим предложением. Она сидела у окна, закутанная в шаль, и читала. Когда я вошла, она подняла глаза от книги. На подоконнике возле нее стоял горшочек с нарциссами — она очень любила цветы.

— Знаете ли, что я читала, мисс Рандольф? — спросила она и прочла мне вслух следующие стихи:

«Если у тебя есть два ломтя хлеба, продай один и купи нарциссов, ибо хлеб питает тело, а нарциссы — душу».

— Не правда ли, это прекрасно? — спросила она своим музыкальным голосом.

Я ответила: «Да» и предложила ей выйти в сад погулять.

— Ему это не понравится, — ответила она, — он не же-

дает, чтобы я выходила.

Я пыталась посмеяться над этой странной идеей, но убедить мне ее не удалось, и я стала говорить о другом. Я была убеждена, что страх ее перед доктором Марадиком был не что иное, как пункт помешательства. Я ясно видела, что она в полном рассудке, но разве ее бывает таких пунктиков даже у вполне здоровых людей? Ее отношение к мужу я тогда считала просто непонятным отвращением, и оставалась при этом убеждении до самого конца. Повторяю, я пишу лишь то, что сама видела, чему была свидетельницей.

Весь день мы провели с ней в оживленном разговоре. Перед наступлением сумерек я поднялась, чтобы закрыть окно, и на минуту высунулась из него, чтобы в последний раз подышать свежим воздухом. В это время за дверью слышались шаги доктора Брэндона. Раздался стук в дверь и вошли доктор с мисс Петерсон. Последнюю я всегда считала человеком неумным, но никогда не казалась она мне такой глупой, такой напыщенной профессионалкой, как в этот момент.

— Я рад видеть, что вы дышали свежим воздухом, — произнес доктор Брэндон.

Взглянув на него, я невольно подумала: какая злая ирония, что он является специалистом по нервным болезням!

— Кто этот доктор, который был с вами здесь сегодня утром? — спросила мистрис Марадик.

Тут только узнала я о визите другого врача.

— Это доктор, который жаждет вылечить вас, — ответил доктор Брэндон, садясь возле нее на стул и беря ее за руку. — Мы все жаждем поскорее видеть вас здоровой, и потому хотели бы недели на две послать вас в деревню, на лону природы. Мисс Петерсон поможет вам собраться, и я сам свезу вас в своем экипаже. Лучшего дня для путешествия трудно выбрать.

Вот он, наконец, роковой момент! Я сразу поняла, о чем он говорит. Поняла это и мистрис Марадик. Она покраснела, потом побледнела. Я положила ей на плечо руку и почувствовала, что она вся дрожит. Какой-то поток мыслей носился в воздухе и пронизывал мой мозг. Хотя я рисковала

своей карьерой сестры милосердия, я чувствовала, что должна повиноваться повелительному голосу, громко звучащему в мозгу моем.

— Вы увозите меня в дом сумасшедших! — произнесла мистрис Марадик. Он стал что-то бормотать, отрицать, но я пытливо взглянула ему прямо в лицо. Это было большой смелостью для сестры милосердия, но я ни о чем не думала.

— Доктор Брэндон! — произнесла я. — Прошу вас... умоляю вас подождать до завтра... Я должна вам кое-что сообщить...

Он сердито смерил меня взглядом, но, стараясь придать голосу мягкость, ответил:

— Хорошо, хорошо, мы все выслушаем.

В то же время, я заметила, что он кивнул мисс Петерсон, и она направилась к гардеробу и достала оттуда пальто и шляпу мистрис Марадик.

Вдруг мистрис Марадик сбросила с плеч шаль и, встав во весь рост, произнесла:

— Если вы увезете меня отсюда, я никогда, никогда не вернусь уж сюда!.. Я не могу уйти отсюда! — с отчаянием вдруг крикнула она. — Я не могу уйти от своей девочки!

Она казалась необыкновенно бледной в стущавшихся сумерках. Я ясно видела ее лицо, слышала ее голос.. Эта ужасная сцена до сих пор стоит у меня перед глазами. И вдруг... я увидела, как дверь тихо открылась, и девочка направилась к матери. Я видела, как она подняла свои ручки и обняла мать, которая нежно прижала ее к себе.

— И после этого вы еще можете сомневаться?! — крикнула я.

Но когда я перевела взор со слившихся воедино фигур матери и девочки на доктора Брэндона и мисс Петерсон, я пришла в ужас — ясно было, что они не видят ребенка. Они видели только руки матери, прижимающие к груди пустое пространство. Они были слепы, несчастные!

— И после этого вы еще можете сомневаться? — ответил мне моими же словами доктор.



Виноват ли он был, что обладал только телесным зрением, что не мог видеть всего, что находится у него перед глазами?...

Да, они ничего не видели, и я поняла, что бесполезно настаивать и говорить им об этом.

Мистрис Марадик последовала за ними спокойно, но когда стала прощаться со мной, вдруг заволновалась. Мы стояли уже на улице, когда она перед тем, как войти в карету, откинула креп с лица и произнесла:

— Оставайтесь с ней, мисс Рандольф, сколько только возможно будет. Я никогда уж не возвращусь сюда.

Она села в карету, и они уехали. А я провожала их глазами, и рыдания сжимали мне горло. Несмотря на то, что сердце мое разрывалось от боли, я, по-видимому, не вполне сознавала ужас случившегося. Поняла я это только через несколько месяцев, когда пришло известие, что она умерла в лечебнице — от «разрыва сердца», как они это определили.

К моему удивлению, после отъезда жены доктор Марадик пригласил меня остаться сестрой при его домашних приемах. Когда пришло известие о смерти мистрис Марадик, вопрос о моем отъезде из дома опять не был поднят. Я до сих пор не могу попятить, почему он желал, чтобы я осталась в доме. Может быть, он думал, что таким образом у меня меньше шансов болтать о его личных делах? Или же он хотел испытать силу его влияния на меня? Тщеславие у него было поразительное. Я сама видела, как он краснел от удовольствия, когда замечал, что на улице оглядываются ему вслед. Не прочь он был играть и на слабости своих пациентов. Нужно признать, что он был действительно очарователен. Немногим мужчинам дано быть предметом такого обожания, каким пользовался он.

Летом доктор Марадик на два месяца уехал за границу. Я на это время получила отпуск и уехала в Виргинию. Когда начался опять рабочий сезон, работы было столько, что некогда было вздохнуть, и я понемногу стала забывать о несчастной мистрис Марадик. Девочка с тех пор больше не являлась в дом, и я начинала думать, что эта маленькая фи-

гурка была просто оптическим обманом, плодом моего расстроенного воображения. Может быть — ловила я себя иногда на мысли — доктора были правы, несчастная действительно была помешана? Вместе с этим реабилитировался постепенно в моих глазах и доктор Марадик. И вот как раз тогда, когда в моем мнении он совершенно очистился от всякого подозрения, случилось то, при мысли о чем у меня до сих пор волосы дыбом становятся и мороз по коже пробегает.

О смерти мистрис Марадик мы узнали в мае. Ровно через год, когда зацвели кругом фонтана нарциссы, ко мне в комнату вошла экономка и сообщила мне о предстоящей свадьбе доктора.

— Этого надо было ожидать, — прибавила она. — Для такого общественного человека, как доктор, дом слишком пуст. Но я не могу отрешиться от мысли, какой ужас в том, что этой чужой женщине достанутся деньги, которые оставил несчастной мистрис Марадик ее первый муж!

— А велико ли было ее состояние? — полюбопытствовала я.

— Очень велико! Много миллионов!..

— Неужели они поселятся в этом доме? — спросила я.

— Это уже вопрос решенный. Через год в это время от него и следа не останется: его снесут и на его месте построят новый дом.

Я невольно вздрогнула при мысли о том, что старый любимый дом мистрис Марадик будет разрушен.

— А кто невеста? — спросила я. — Он познакомился с ней в Европе?

— О, нет! Это та самая, с которой он был помолвлен еще до женитьбы на мистрис Марадик. Говорят, она ему отказала, потому что он был недостаточно богат. Она вышла замуж за какого-то не то лорда, не то князя, с которым потом развелась. И вот теперь она вернулась к своему старому возлюбленному. Теперь-то он достаточно богат для нее...

Во всем, что она говорила мне, не было ничего невероятного, хотя история эта сильно смахивала на роман из бульварного журнала. Но я почувствовала вдруг какое-то

странное движение воздуха в комнате. Это было, конечно, следствием моей нервности. Я была слишком поражена известием, сообщенным мне так неожиданно экономкой. Но у меня положительно было ощущение, будто старый дом прислушивается, будто есть кто-то невидимый тут в комнате или под окном в саду...

Экономка ушла — ее позвал кто-то из слуг. Я осталась одна и вдруг вспомнила стихи, которые мистрис Марадик произнесла в тот роковой день. Цветущие под окном нарциссы напомнили их мне.

«Если у тебя есть два ломтя хлеба, продай один и купи нарциссов», — повторила я вслух.

И в тот же миг, подняв глаза к окну, увидела на лужайке перед фонтаном девочку со скакалкой. Я ясно видела, как она вприпрыжку приближалась к месту, где цветут нарциссы. Я видела ее, в ее клетчатом платице, белых носочках и черных туфельках, так же ясно, как и двух мраморных мальчиков фонтана. Я вскочила, сделала шаг вперед. Если бы мне только подойти к ней, поговорить... Я могла бы пролить свет на эту страшную тайну... Но при первом моем движении видение побледнело и как бы растаяло в воздухе. Я села на ступеньки террасы и залилась слезами. Я была убеждена, что случится что-то страшное перед тем, как они снесут дом мистрис Марадик.

Доктор в этот вечер обедал вне дома. Экономка сказала мне, что он у своей невесты. Было около полуночи, когда я услышала, что он подымается по лестнице к себе. Я не могла спать и пошла в приемную за книгой, которую там днем оставила.

Я была измучена, нервы мои распались и впервые в жизни я узнала, что такое страх перед чем-то неизвестным.

Я сидела в своей комнате за книгой, как вдруг раздался телефонный звонок. Я вздрогнула. Приложив к уху трубку, я услышала голос надзирательницы, которая просила доктора Марадика спешно приехать в госпиталь. Эти ночные вызовы доктора были настолько обычным делом, что я спокойно повесила трубку и позвонила к доктору в его комнату. Он ответил, что не успел еще раздеться и просил меня вер-

нуть его автомобиль.

— Я буду готов через пять минут, — услышала я его ласковый веселый ответ, как будто бы он собирался ехать венчаться, а не на ночной визит к больному.

Я вышла в переднюю, чтобы зажечь там свет и приготовить ему пальто и шляпу. Медленно подвигаясь в полумраке передней к кнопке электрической лампы, я инстинктивно поднялась вверх по лестнице, откуда должен был спускаться доктор. И в тот самый момент, когда на лестнице готова поклясться в этом жизнью — я увидела спутанную детскую скакалку на ступеньках, как будто бы оброненную ребенком. Одним прыжком очутилась я у кнопки и быстро осветила лестницу. Но не успела я еще отнять руки от кнопки и повернуть головы, как услышала за спиной крик не то ужаса, не то боли. Когда я обернулась, он тяжело скатывался с лестницы. Крик ужаса замер на моих устах. Раньше, чем я склонилась над ним, раньше, чем вытерла с головы его кровь и приложила руку к его сердцу, я звала, что он мертв...

Все были уверены, что он оступился нечаянно, я же склонна верить, что какой-то призрак поразил его в тот самый момент, когда он наиболее жаждал жить...

Эдмон Жалу

КРУЖЕВНОЙ САВАН

За десять лет супружеской жизни Джон-Артур Энаж ни разу не изменил своей жене. Он искренне любил ее, чувствовал к ней благодарность за то, что она полюбила его, за то, что вышла за него замуж. Когда он познакомился с ней, счастье улыбалось ему: его комедия «Горящий куст» имела шумный успех.

С трудом оправлялся он от долгих лет нужды и одиночества. Круглый сирота, не имея никаких средств к жизни, он с пятнадцати лет сделался репортером. Беготня по улицам, голод, нетопленная мансарда, неприятливая лондонская зима, перехваченная то здесь, то там для поддержания бодрости рюмочка джина...

Он попробовал писать комедии. Успех «Горящего куста» сразу дал ему богатство и славу. Тогда же был он представлен дочери богатого судовладельца, мисс Маргарите Энтрюттер, влюбился в нее и через три месяца женился на ней.

Жизнь Джона-Артура Энажа круто переменялась, он достиг вершин человеческого счастья. Правда, враги его находили, что он недостаточно скромен, что иногда он бывает даже заносчив. Что за беда! Зато теперь у него был роскошный особняк в Лондоне, вилла в Брайтоне, автомобили, куча слуг, зато теперь он мог исполнять все свои желания и прихоти. Лучшим его удовольствием было ужинать в «Савойе» среди лондонской аристократии, вместе со своей элегантной, залитой бриллиантами женой.

Но ко всему в жизни привыкаешь. Прошло десять лет и Джон-Артур Энаж совсем забыл, каким жалким репортером был он когда-то. Он продолжал писать пьесы и они по-прежнему имели успех, — но это было уже ремесло, а не искусство.

Однажды, присутствуя на репетиции одной из своих драм, он познакомился с Миной Сюттор, маленькой актрисой, тонкой, как тростник, смуглой, как индуска, с серыми, стальными глазами, с руками принцессы. Она не лишена была таланта, происходила из зажиточной буржуазной семьи, ее брат был морским офицером.

Джон-Артур Энаж сразу влюбился в нее, дал ей главную роль в своей новой пьесе, восторженно рассказывал о ней всем своим друзьям и знакомым. Но маленькая Мина Сюттор придерживалась строгих принципов и ни одна из зажигательных речей Джона-Артура Энажа не могла поколебать ее добродетели.

— Если бы вы не были женаты, я охотно вышла бы за вас замуж, — говорила она. — Но вы женаты!..

Она повторяла ему это приблизительно каждую неделю, а однажды сказала:

— О, если б ваша жена умерла, как любила бы я вас, Джон-Артур!

Энаж содрогнулся.

Он был влюблен до потери рассудка, он способен был на убийство, на преступление. И мысль о вдовстве, внушенная ему, может быть, бессознательно Миной, прочно засела в его мозгу. Зная, что жена его страдает невралгией, он посоветовал ей прибегнуть к подкожным впрыскиваниям морфия. Его ожидания оправдались: Маргарита сделалась морфинисткой. От времени до времени Джон-Артур Энаж компании ради делал уколы и себе. Он делал их так искусно, что жена не раз прибегала к его помощи, но однажды — роковая случайность, конечно! — впрыснутая доза была так велика, что несчастная женщина не проснулась больше.

Когда несколько лет тому назад мистрис Энаж была серьезно больна, она пожелала иметь кружевной саван и попросила мужа похоронить ее, когда она умрет, в этом саване. Джон-Артур Энаж свято исполнил волю усопшей.

Он целый год оплакивал Маргариту, казался неутешным, потом женился на Мине Сюттор. Маленькая актриса отлично чувствовала себя в роскошном особняке, в сказочной вилле и, высоко подняв голову, проходила по залам «Савойи».

Джон-Артур Энаж был счастлив. Угрызения совести не мучили его. В конце концов он сам поверил в то, что смерть Маргариты явилась результатом несчастной случайности. Так прошло три года.

Но вдруг Джон-Артур Энаж сделался беспокоен, нервен, словно что-то враждебное угрожало его счастью. Он вздрагивал при малейшем шуме, страдал от каких-то мрачных предчувствий, жаловался на мучительные сердцебиения.

Однажды ночью он никак не мог уснуть. Была пятая годовщина смерти Маргариты и его томила страшная тревога. В полночь он услышал глухие удары молотка.

«Что это, — подумал он, — слуги сошли с ума!»

Но так как предположение, что кто-то вбивает среди ночи гвозди в стену, показалось ему неправдоподобным, он решил, что в дом хотят забраться воры. Чтобы не испугать спавшей жены, он осторожно взял с ночного столика заряженный револьвер и бесшумно вышел из комнаты...

На пороге он постарался ориентироваться. Звуки, по-видимому, исходили из тех комнат, которые были заперты со дня смерти Маргариты. Дрожа с ног со головы, он шел вперед, поворачивая на пути выключатели. И по мере того, как освещалась длинная анфилада комнат, звуки становились все громче, все отчетливее.

Он проходил коридоры, салоны, видел высокие, узкие окна в дубовой оправе, лепные потолки, старинную мебель, гобелены, мраморные статуи, редкие картины. Он смотрел вокруг с таким чувством, словно видел все это в последний раз.

Идя по тому направлению, откуда доносились звуки, Джон-Артур Энаж дошел до дверей комнаты, в которой умерла Маргарита. Он содрогнулся, хотел вернуться обратно... и помимо своей воли открыл дверь.

Удушливый залах пахнул ему в лицо. Запах гниения, хуже того: трупный смрад...

Быстро повернул он выключатель. И в ужасе попятился. Его зубы стучали, как в лихорадке. На стене в глубине комнаты он увидел белый кружевной саван, тот самый саван, в котором была похоронена Маргарита. Саван висел на двух ржавых гвоздях и весь покрыт был зелеными пятнами и сгустками запекшейся крови.

Энаж смотрел, смотрел: этот саван был его приговором. Значит, мертвые возвращаются? Значит, есть привидения? Значит, прошлое может воскреснуть? Маргарита принесла в его дом свой саван, ему не избежать ее мщения, он погиб, безвозвратно погиб!

Когда на следующий день слуга вошел утром в комнату, он увидел на стене кусок белой материи, а на полу распростертый труп своего господина: Джон-Артур Энаж застрелился.

ИСТОЧНИКИ

Д. Вуд. Тайна смеющейся девушки. Пер. М. А. // *Волны*. 1916. № 11, ноябрь.

Д. Ф. Вильсон. Искры // *Синий журнал*. 1911. № 36, 26 августа.

Ш. Бельвиль. Странный случай близ Санта-Изабель // *Журнал-копейка* (М.). 1912. № 12/140.

Э. Лемэр. Насекомое. Пер. К. Х. // *Иллюстрированная Россия* (Париж). 1931. № 3 (296), 10 января.

[Б. п.]. Женщина-змея // *Кинематограф: Еженедельный иллюстрированный журнал тайн и ужасов*. 1910. № 9.

А. Ганс. Маска ужаса // *Всемирная панорама*. 1913. № 245/52.

А. де Лорд. Мертвое дитя. Пер. П. Б. // *Журнал-копейка*. 1910. № 73, июнь.

А. де Лорд. Дама в черном. Пер. В. А. // *Всемирная панорама*. 1914. № 248/3.

О. Вилье де Лиль-Адан. Страшный сотрапезник // *Огонек*. 1909. № 31, 1 (14) августа.

О. Вилье де Лиль-Адан. Тайна эшафота // *Огонек*. 1909. № 29, 18 (31) июля. Две новеллы О. Вилье де Лиль-Адана, выбивающиеся из установленных хронологических рамок, публикуются нами в виде исключения — как переводы 1900-х гг. и произведения прямого предшественника многих представленных здесь авторов.

З. Лионель. Исповедь // *Огонек*. 1908. № 10, 9 (22) марта.

[Б. п.]. Зверь // *Кинематограф: Еженедельный иллюстрированный журнал тайн и ужасов*. 1910. № 1.

[Б. п.]. Кровавый галстук // *Журнал-копейка*. 1914. № 284/26,

июнь. С подзаг. «С испанского».

Ф. Дакр. Месть контрабандиста. Пер. З. Ж<уравской> // *Всемирная панорама*. 1912. № 158/17, 27 апреля.

П. Монферран. Кровавый поезд. Пер. И. С. // *Синий журнал*. 1913. № 42, 18 октября.

О. Фоксе. Восковой могильщик // *Огонек*. 1913. № 17, 28 апреля (11 мая).

Г. Леру. Ужасная история // *Огонек*. 1911. № 19, 7 (20) мая. Ориг. загл. «Ужасная история или Ужин бюстов».

Г. Леру. Золотой топор // *Синий журнал*. 1912. № 15, 6 апреля.

Г. Леру. Человек, который видел дьявола // *Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения*. 1912, сентябрь-декабрь.

Ш. Фолей. Воды Малирока // *Мир приключений*. 1911. № 8.

Ш. Фолей. Женщина в черном. Пер. М. И. Потапенко // *Журнал-копейка* (М.). 1911. № 16/93.

Э. Глазгоу. Тень третьей. Пер. М. Ван // *Волны*. 1917. № 1, январь, под загл. «Возмездие». Ориг. загл. «The Shadowy Third». Илл. Э. Абботт взята из *Scribner's Magazine*, 1916, т. LX (июль-декабрь).

Э. Жалу. Кружевной саван. Пер. М. Каринной // *Всемирная панорама*. 1913. № 119/6, 8 февраля.

Оглавление

Д. Вуд. Тайна смеющейся девушки	6
Д. Ф. Вильсон. Искры	15
Ш. Бельвиль. Странный случай близ Санта-Изабель	24
Э. Лемэр. Насекомое	33
[Б. п.]. Женщина-змея	42
А. Ганс. Маска ужаса	48
А. де Лорд. Мертвое дитя	53
А. де Лорд. Дама в черном	59
О. В. де Лиль-Адан. Страшный сотрапезник	66
О. В. де Лиль-Адан. Тайна эшафота	91
З. Лионель. Исповедь	104
[Б. п.]. Кровавый галстук	115
[Б. п.]. Зверь	120
Ф. Дакр. Месть контрабандиста	123
П. Монферран. Кровавый поезд	130
О. Фоксе. Восковой могильщик	135
Г. Леру. Ужасная история	141
Г. Леру. Золотой топор	161

Г. Леру. Человек, который видел дьявола	176
Ш. Фолей. Воды Малирока	202
Ш. Фолей. Женщина в черном	224
Э. Глазгоу. Тень третьей	231
Э. Жалу. Кружевной саван	252
И с т о ч н и к и	257

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.